ВАЛЕНТИН КАТАЕВ

СЭР ГЕНРИ И ЧОРТ

РАССКАЗЫ

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО ПИСАТЕЛЕЙ
В БЕРЛИНЕ
1 9 2 3



Книга отпечатана в тысяча девятьсот двадцать третьем году в типографии Шпеер и Шмидт в Берлине, Риттерштрассе 22.





С Э Р Г Е Н Р И И Ч О Р Т

СЭР ГЕНРИ И ЧОРТ

Огненные папиросы ползали по перрону ракетами, рассыпая искры и взрываясь. В темноте толклись зеленые созвездия стрелок и в смятении кричали кондукторские канареечные свистки. Железо било в железо. Станции великолепными мельницами пролетали мимо окон на электрических крыльях. А меня мотало на койке, и вслед за ночью наступала опять ночь, и вслед за сном снился опять сон, но сколько было ночей и снов — я не знаю. Только один раз был день. Этот мгновенный день — был моей бледной легкой рукой, которую я рассматривал на одеяле, желая найти розовую сыпь. Но одеяло было таким красным, а рука — такой белой, что натрудив яркостью глаза, я опять переставал видеть день. На голове лежал тяжелый камень, то холодный, то горячий. Потом меня качало в автомобиле и резкий сыпно-тифозный запах дезинфекции смешивался с бензинным дымом. Углы, дождь, железные деревья и люди моего родного города, которого я не узнавал, вертелись и, раскачи-

ваясь, облекали валкий мотор. И в комнате, где не было ничего кроме огромного белого потолка, страшно долго лилась в глаза из сверкающего крана единственная электрическая лампочка. Потом сильный и грубый татарин с бритой голубой головой и в халате, скрутив мою слабую шею, драл череп визжащей и лязгающей машинкой и сквозь душный пар, подымавшийся над ванной я видел, как падали и налипали на пол мертвые клочья выстриженных волос. И мне было смертельно грустно видеть их; как будто в этих падающих жалких клочьях шерсти по капле уходила моя жизнь. Меня опускали в кипяток и мыли, но воспаленная кожа не чувствовала жара и ноги продолжали оставаться твердыми и ледяными. Меня куда то несли и качали. Потом все ушли и оставили меня одного бороться и гибнуть в этой разрушительной и непонятной работе, от которой весь я гудел, как динамо.

Тот изумительный осажденный город, о кабачках и огнях которого я так страстно думал 3 месяца, мотаясь в стальной башне бронепоезда, был где то вокруг за стенами совсем близко. Сквозь гуденье крови, сквозь туман и жар, я видел волшебные опаловые стекла, за которыми цвели удивительные зори и росли каменные городские сады. Там было пламенно синее море, и розы, и смуглая девочка с японскими глазами играла на пианино перед черной лаковой доской, на которой росли две желтых хризантемы, два японских солнца, золотясь на раскрытых нотах, на крылах белоснежной цапли, собирающейся улететь из смуглых рук гейши. У входа в фешенебельные кабачки

на плакатах кривлялись стилизованные короли и арлекины и от изящнейших женщин пахло французскими духами. Во мраке кинематографов ослепительно били голубые прожектора и призрачная красота светилась и мелькала из белых квадратов. Но все это, желанное, было недостижимо, за волшебными опаловыми стеклами. А все враждебное, невыносимое, ужасное было рядом со мною, совсем близко — во мне. Громадные пустынные степи и черное удушливое небо окружали меня. Вороны, распластав крылья, беззвучно летали косо по ветру. Вороные двуглавые орлы в казачьих фуражках, на сибирских лошадях с пиками дикими раз'ездами кружили в снегах возле меня. А я был беззащитен, а я лежал с оторванными ногами и должен был гибнуть. Никто не мог мне помочь. Ни смуглая влюбленная девченка с хризантемами и в берете смутно стоявшая у меня в головах, ни рука, наливавшая вино в белую кружку. Истекая кровью, я переползал страшные рвы и переплывал бурные реки, в высоких безнадежных глухих степях я отыскивал потайные ходы и все полз, полз и полз. Но станция, затерянная в снегах, все также махала электрическими крыльями и все также недостижимо пели уходящие в город поезда. Казаки гнались за мной по пятам. Они настигали меня, они били меня нагайками и отнимали у меня мешечек с золотыми обрезками, спрятанный на груди. Я валялся под конскими копытами и молил: «не отнимайте моего богатства. Пожалейте меня. Я умираю». И самое ужасное было то, что бред для меня был такой же истиной, как и правда, и то, что не было боли.

Страшная тоска сжимала в кулаке мое сердце так, что оно почти переставало биться, и тогда молотки начинали стучать в висках, динамо гудела все сильнее и сильнее, дышать было невозможно, но боли все не было и опаловые стекла горели все также холодно и волшебно. О, если бы сделалось пронзительная, ужасная, отрадная боль. Она одна могла спасти меня от этих казаков, отнимавших мое золото, мое единственное богатство. Она одна могла разрядить это гудящее страшное напряжение, от которого вздувались во мне какие-то готовые лопнуть трубы. И в тот час, когда я раздетый, ограбленный и замерзающий лежал в снегах, ожидая гибели — шум работы, адское гуденье динамо и грохот — осеклись и отрадная мертвая тишина стала расходиться от уха подобно кругам на поверхности воды от брошенного камня. И в самой середине, в ухе, в источнике их, вкрадчиво запела тонкая высокая боль, красной струной вытянувшись к лампочке в потолке. Долго пела и колебалась эта струна и чистая высокая боль возвращала меня к жизни. И когда волшебные стекла потускнели и сделались синими, а лампочка на потолке стала наливаться каленой краснотой железа, боль превратилась в молодого английского студента сэра Генри.

Я прекрасно видел его синий пиджак и белые отвороты рубашки, безукоризненный пробор и выдающийся подбородок, над которым равнодушно торчала трубочка, распространявшая тонкий аромат кепстена. И вместе с тем, и сэр Генри и я были нераздельным единым живой боли, которая гнездилась у меня в ухе. И самое ухо стало раскрытым

окном буфета искусственных минеральных вод, в глубине которого, мелькая, свистели ремни, шипели машины, тонко гудела динамо и горела лампочка. А сэр Генри сидел на подоконнике, свесив ноги в лиловых чулках и, презрительно пуская мне в лицо голубые кольца дыма, зубрил из толстой книги органическую химию. Вероятно он готовился к экзамену. Его поведение показалось мне оскорбительным.

— Сэр, — сказал я, — будучи мною самим, вам бы следовало быть более воспитанным. Я не переношу табачного дыма. Кроме того, прошу заметить, что англичане должны уважать русских.

— Хорошо, коллега, не волнуйтесь, — ответил сэр Генри в сторону. — Сейчас мы это все исправим. У вас ничего не болит?

— Конечно, болит, сэр. Ведь вы же и есть эта проклятая боль, которая как крыса, копошится в моем ухе. Надеюсь, вам это должно быть известно лучше, чем мне.

— Ладно, сейчас увидим.

И не успел я ответить, как сэр Генри ловко соскочил внутрь буфета и, мелькая в глубине, стал что-то делать среди мельканий, шипенья и гуда. От его движений шум становился сильнее, машины одна за другой лопались и боль красной нитью накручивалась на зубчатые колеса, заставляя меня стонать и молить о пощаде. Потом опять заблестела веселая летняя зелень, и чистенькие школьники в пелеринах и беретах, с красными помпонами и карманами, набитыми жареными каштанами, высыпали на подстриженную лужайку и столпились у окна, где

опять, как ни в чем не бывало, сидел сэр Генри с книгой.

— Дети, идите сюда, — кричал я. — Не слушайте сэра Генри. Он ничего не знает. Он сам мой ученик. Только я научу вас настоящему и прекрасному, только я спою вам песни, слышанные мною от ангелов. Я научу вас стрелять из настоящих пушек и кричать: «прицел семьдесят пять, трубка семьдесят пять, первое огонь».

Но, вероятно, мой голос был неслышен и неубедителен, потому-что школьники обступали англичанина все гуще, пока совсем не закрыли от моих глаз и его самого, и окно, и мелькание машин. Тяжелая обида навалилась на мое сердце. Детям были не нужны мои песни и пушки. Они любили органическую химию.

— Сэр Генри, берегитесь, — закричал я, стараясь перекричать шум. — Берегитесь, я сведу с вами счеты. Слышите ли, сэр Генри! — Но шум был сильней голоса. Тогда я закрыл глаза, чтобы не видеть всего этого и, изнемогая от смертельной и совершенно незаслуженной обиды, стал ожидать, что случится дальше.

А дальше случилось вот что. От жары и духоты у меня в ухе завелись крысы — целое вонючее крысиное гнездо. Маленькие крысята возились и царапались, а большие крысы тяжело и мягко лежали на дне гнезда. Это было отвратительно. Я изнемогал от жары. Сколько времени возились у меня в ухе крысы, я не знал. Много раз волшебные стекла загорались и меркли. Лампочка на потолке много раз наливалась каленой краснотой, сияла, гасла и

косматая папаха, висящая над моим изголовьем, продолжла цвести такой же черной громадной хризантемой. А крысы все копошились и копошились, и с каждым часом их становилось все больше и больше.

И вдруг наступил конец мученьям. Послышались знакомые шаги и голос. Несомненно, это был сэр Генри, но, Боже, как он постарел. Вероятно, мы не видались с ним лет десять. Теперь он уже не был изящным молодым джентльменом, обучающимся в Оксфорде. Это был поседелый в бурях суровый моряк — капитан разбойничьего брига. Его глиняное лицо, выжженное, как кирпич, тропическим солнцем, смотрело внимательно и приветливо, а черная трубка распространяла тот же знакомый запах кепстена. Все было забыто. Мы опять были друзьями.

— Как вы себя чувствуете, дружище? — спросил он, крепко пожимая мне руку.

— Спасибо, капитан, только меня очень мучают крысы. Они завелись вот здесь, представьте, в самом ухе. Кроме того, у меня казаки отняли золото, все мое богатство.

— Ладно, — сказал сэр Генри, улыбаясь. Этот добряк с обветренным лицом вынул из-за пояса нож и мгновенно вырезал у меня из уха противное крысиное гнездо, влил в ухо теплой смолы и обвязал голову черным пиратским флагом так туго, что я не мог открыть рта. Боль перестала и стало хорошо и отрадно.

— А теперь в дорогу, — сказал сэр Генри, и нас окружили пираты с брига.

Шумной толпой мы сбежали по наклонной широкой песчаной дороге к морю. Солнце, только что поднявшееся над горизонтом, било в глаза. Сверкающие ракушки и гравий, остро пахнущие солью и иодом, хрустели под высокими сапогами с раструбами.

Полосатые тенты кафе, где за мраморными столиками люди в белых панамах ели мороженое, надувались парусами. И фотограф, изогнувшись перед треножником, моментально снимал бронзовую группу купальщиков, стоящих по колено в воде, на фоне сверкающей ряби. А там, в полумиле от берега, в пламенной синеве, плавал на якоре великолепный разбойничий бриг «Король морей». Над узорной трех'ярусной кормой с квадратными окошками вилась узкая лента вымпела и белоснежные паруса, полные утреннего бриза, казались сияющими облаками. На утлых шлюпках мы отвалили от берега и через пять минут «Король морей», рассекая широкой грудью синие свитки волн, увенчанных кудрявой пеной, отплыл к неизвестным берегам.

Пираты пили ром и курили трубки, сидя на бочках с порохом и ящиках с сухарями. Турецкие пистолеты торчали за поясами и у ног лежали сваленные грудой кремневые мушкеты. Капитан сэр Генри стоял на рубке, вцепившись железными пальцами в поручни, и орлиными глазами смотрел вдаль. Ветер крепчал. Пены на волнах становились все больше и больше. Облака набегали одно за другим на солнце. Огромное море поднималось темной синевой то справа, то слева, то над кормой, то над носом. И пока ветер свистал в снастях и трепал на

средней самой высокой мачте черный флаг с белой козлиной головой, пираты пели странные, уже когда то слышанные где-то песни, покрывая голосами органный гул океана.

Наступила ночь. Луна прыгала в черных тучах, волны с грохотом били в корабельные доски. Ванты скрипели, огни святого Ельма голубыми языками мерцали на реях, сэр Генри неподвижно стоял раскачиваясь на фоне черного неба, вместе с рубкой, а голоса пиратов не смолкали, в тысячный раз повторяя:

Но где то есть иные области,
Луной мучительной томимы,
Для высшей силы, высшей доблести
Они навек недостижимы.

И дружным криком заканчивали:

Пьянство и чорт сделали свое дело!
Пятнадцать человек на ящике мертвеца
Иох-хох-лх, йох-ох-ох
И бутылка рому.

Через три дня «Король морей» бросил якорь у берегов чудесного острова, имени которого я не знал. По упругому трапу мы сошли на песок.

Я в изумлении остановился. Такой прозрачности и чистоты я еще нигде не видел. Воздух как будто бы отсутствовал. Самые отдаленные предметы не теряли подлинности своих красок сквозь расстояние. Вода вокруг острова была изумительного фиолетового цвета и дно просвечивало сквозь нее салатно-шелковой подкладкой. Огромные дубовые, столбы, увенчанные медными птицами, были вбиты в дно у самого берега. На всем песчаном острове не

было ни одного дерева. Посередине пестрел базар. Здесь под легким холстом навесов и под зонтиками были расставлены струганые дубовые столы. На столах кипели ослепительно расчищенные самовары и осколками битого мрамора лежал сахар. Огромные золотые хлебы заставляли гнуться доски столов и ярко-желтые лимоны горели в стеклянных банках. Хрустальный ключевой кипяток лился из самоварных кранов в прозрачные как воздух стаканы, но пар отсутствовал, и женщины в белых бретанских чепчиках делали бутерброды. Я был страшно голоден, но стоял в нерешительности перед чудесной снедью, не зная, в какой стране я нахожусь и можно ли что нибудь купить за деньги, привезенные мною из осажденного города.

Тогда, отделившись от толпы, ко мне подошел некий моложавый старик в деревянных башмаках и, почтительно сняв шляпу, сказал:

— Брат мой, если вы голодны, пейте чай и ешьте. Все, что вы видите, к вашим услугам.

— Благодарю вас, — ответил я, — но я нахожусь в затруднительном положении, потому-что не знаю, действительны ли у вас деньги, привезенные из осажденного города.

— Деньги? — удивился старик. — Я не знаю, о чем вы говорите. Если о тех бумажках и кружочках, которые так бережно носят на груди матросы с вашего брига, — то это не нужно. На нашем острове каждый голодный подходит к столам и ест столько, сколько ему нужно для утоления голода. А этого у нас и без того сколько угодно, прибавил

старик, презрительно показывая деревянным башмаком на песок.

— Это безумие, — хотел воскликнуть я, но мой взгляд упал на песок острова и я побледнел. Так вот зачем привез меня сюда добрый капитан Генри. Песок был из чистого золота.

Придя в себя от изумления, я взглянул на почтенного старика. Он был тоже бледен и, сдерживая волнение, смотрел на мои высокие запыленные сапоги.

— Брат мой, — начал он в смущении прерывающимся голосом. — Брат мой, простите мою дерзость, но не позволите ли вы взять с ваших сапог немного этой драгоценной земной пыли. У нас на острове ее совершенно нет, а ведь это очень редкая и драгоценная вещь. . .

— Ради Бога! Возьмите сколько угодно, — забормотал я в смущении. Сейчас же меня окружила толпа обитателей странного острова. Припав к моим ногам с жадными лицами, мужчины и женщины стали осторожно собирать с моих сапог щепотки пыли, дрожа и волнуясь, заворачивая ее в тонкую бумагу.

— О, дайте нам вашей пыли, — говорили они певучими голосами, в которых звучала смертельная тоска. — О, дайте нам вашей пыли, ведь на нашем проклятом острове нет ни единой пылинки, ни единой пылинки. Ах, как невыносимо скучно и пусто без пыли. Дайте нам хоть щепотку пыли из Осажденного города.

А я забыл голод и не мог отвести глаз от этого огромного количества золота, рассыпанного вок-

руг. Через минуту на моих сапогах не было ни одной пылинки. Тогда я сказал:

— А вы, позволите-ли вы взять с собою немного песку с вашего острова.

— О, добрый друг, — раздались голоса обитателей острова. — Берите нашего песку сколько угодно, и да будет с вами мир.

В этот миг прозвучал голос капитана Генри: «Скорей собирайтесь, друзья, больше оставаться на берегу нельзя ни минуты. Сейчас начнется отлив и мы рискуем посадить корабль на рифы».

Пираты с брига торопливо втаскивали на корабль мешки, набитые золотом. Паруса распускались. Белая круглая магнитная луна всплывала над морем.

Сэр Генри бросил мне мешок и сказал:

— Поторопитесь, дружище. Сейчас мы снимаемся. На первый раз этого вам хватит.

Сдирая с пальцев ногти, кусая губы, я стал набивать мешок золотым песком, и едва успел, надрываясь под непосильной ношей, шатаясь, взойти по трапу, как якорь подняли.

Страшная буря разыгралась в эту ночь в океане. Мачты валило. Порыв ветра сорвал у меня с головы пиратский флаг, и из уха хлынул зловонный гной, пахнущий крысиным гнездом.

Потом наступило небытие.

Потайной фонарь луны освещал темные живые тучи над Осажденным Городом. В темноте средневековых переулков колебалось пламя стенных решетчатых фонарей. Тяжелые низкие ворота были плотно закрыты на засовы. За каждым углом прятались негодяи в широкополых шляпах, скрывая в складках плащей ножи и кастеты. Они подстерегали меня, желая ограбить. А я, перебегая от дома к дому, скрываясь в нишах незнакомых ворот, тащил в мешке золото из гавани на край города, к своему лучшему другу, чтобы он переплавил в слитки и спрятал его. Это был верный и преданный друг. Ему одному верил я среди предателей негодяев и разбойников, кишевших вокруг меня.

Опасным и тяжелым был этот далекий путь в предместье. Лишь незадолго до рассвета достиг я низких окон, плотно закрытых дубовыми ставнями с вырезанными на них сердцами Над тяжелыми воротами висела подкова. Я постучал условным стуком и меня впустили.

О, как постарел мой лучший друг. Теперь он был похож на алхимика. Вероятно, со дня нашей последней встречи прошло немало лет. Неужели и я стал таким же суровым и строгим.

Но каждая минута была на счету. «За дело», — сказал я, в двух словах об'яснив другу все. Через озаренный низкой луной двор мы прошли в кузню, и до самого утра в кузне свистели меха и гудел горн, в котором, багровосветясь, плавился песок с удивительного острова. Так-как в наступивший день в Осажденный Город должны были вступить враги с красными знаменами, то было решено расплавленному золоту придать форму спасательных кругов, выкрасить белой краской и, надписав на них «Король морей», подвесить к потолку кузни, чтобы неприятельские солдаты не отняли моего золота, моего единственного богатства.

С первыми лучами солнца все было готово. Блестя свежей краской, спасательные круги висели под закопченным потолком кузни и слова «Король морей» звучали, как эпитафия.

Оставаться дольше было нельзя. Мне опять суждено было расставаться со своим золотом. В последний раз посмотрев на него, я выбежал.

Уже вокруг стреляли пушки, скакали всадники и падали стрелки. Пуля, пропев пчелой, бегло ужалила меня в ухо, и я застонал. — «Скорей, скорей в гавань, на борт «Короля морей». Капитан спасет меня от врагов, ворвавшихся в город. Он увезет меня на чудесный остров, где люди не знают пыли. Никто не посмеет тронуть меня, если на средней, самой высокой мачте будет трепетать черный флаг с белой козлиной головой».

Но было поздно. Пропало все, и золото, и капитан Генри, и чудесный остров.

Лампочка под потолком горела просто и понятно, как всякая электрическая лампочка в темную зимнюю ночь. В темноте окон вспыхивали и передвигались фосфорические полосы прожекторов. Стекла сотрясались и звенели от проезжавших на улице грузовиков.

Тишина жужжала в ушах и тяжелое страшное ожиданье чего-то заставляло напрягаться все мои нервы.

Я в смятеньи смотрел на полуоткрытую дверь и ждал того, кто должен был войти. О, если бы это был мой добрый старый капитан, сэр Генри. Он избавил бы меня от тяжести и напряжения, он увез

бы меня на своем бриге на чудесный остров Золотого Песка, по пламенной синеве моря.

И вот в коридоре зазвучали шаги. Я с трудом поднял голову с подушки. Дверь распахнулась и в палату вошел деловой походкой чорт. Это был очень приличный, приятный чорт в черном сюртуке и белых манжетах. Он улыбался. Ужас охватил меня.

— Сэр Генри! Сэр Генри, сюда на помощь! — закричал я и выстрелил в чорта из браунинга, с которым не расставался никогда: ни наяву, ни в бреду. Чорт ловко увернулся от пули и обратился доктором.

. . . В палату ворвалась сиделка. . .

Вокруг меня и в меня хлынул звон, грохот и смятенье. И чей то знакомый и незнакомый, страшно далекий и маленький (как за стеной) голос сказал то ужасное, короткое и единственное слово, смысл которого для меня был темен, но совершенно и навсегда непоправим.

В ОСАЖДЕННОМ ГОРОДЕ

Ни серые утюги французских броненосцев, кадивших угольной чернотой над заливом, ни веселые патрули английской морской пехоты, кидавшие футбольный мяч голенастыми лошадиными ногами на цветочных углах и вылощенных площадях, ни вялые тела рабочих, черными чучелами развешанные контр-разведкой на железно-дорожных мостах и фонарях предместий, ничто не могло помочь. Город был обречен.

В великолепном стрекотании кино, упрямо повторявшем каждый вечер сияющее отражение некогда живших, в шелковом хрусте карточных вееров над ломберной зеленью клубов, в костяном щелке ночных выстрелов, похожих на щелк биллиардных шаров, и в щелке биллиардных шаров, похожих на выстрелы, осаждаемый с трех сторон красными город шел к гибели.

Напрасно детские голоса газетчиков с перекрестков пели победу, напрасно снопами синих молний слетали радио Рей-броненосца и козьи кофты французских лейтенантов уверенно торчали за столиками кафе и в зеркалах театральных вестибюлей. Все было кончено. Каждый день брюхатые пароходы огибали маяк, увозя на юг желтые чемоданы миллионеров и походные гинтеры генералов. Толпы обезумевших спекулянтов и ничего не понимавших б. . . й, неумело терявших в бегстве горностаевые палантины, наполняли порт и висли виноградом на трапах уходящих пароходов.

А те, кому суждено было остаться в городе, ничего не хотели знать, ни о чем не хотели думать. В переулках горели огни. Из погребов, вместе с морским запахом пива неслась музыка. Ясный месяц высоко стоял над железными деревьями, в самом зените, и звезда казалась слезой, упавшей с него и застывшей в густой синеве, не долетев до земли.

Молодой человек в штатском остановился возле одного из погребов, подумал и быстро сбежал по лестнице вниз, толкнув плечом поднимавшегося вверх пьяного матроса в кожаной куртке. Матрос посмотрел в лицо молодому человеку, потом остановился и следом за ним вернулся в погреб.

Подобно всем погребам портовых городов, погреб был похож на романтическую таверну. Крашеный белой масляной краской досчатый потолок блистал перевернутой корабельной палубой. Кофейный грек за прилавком был похож на капитана пиратского корабля. Мутные стены, холодные, запотевшие, пахли спиртом и камнем. Столики в нишах были покрыты зелеными мокрыми клеенками с черными черкесами на лошадях. Калильная лампа за прилавком пела высоким шумным голосом, озаряя фруктовую пестроту и салатную зелень.

Студент прошел в самый темный угол, сел за стол, пересчитал деньги и спросил бессарабского

вина. И пока грудастая служанка, тыкая в стороны голыми локтями и стреляя подмазанными глазами ходила за прилавок, он достал из бумажника аптечный пакетик, развернул его, разложил на столе и, аккуратно зачерпнув ногтем мизинца щепотку белого кристального порошку, с упоением поднес его к раздувшейся ноздре.

В то же время пьяный матрос, с бледным актерским лицом и синей тенью под глазами внимательно и пытливо разглядывал молодого человека. Под тупой фаянсовый стук посуды в кабачке играла музыка. В углу, на помосте, за пианино с ободранной коленкоровой спиной, сидел лохматый юноша в косоворотке и консерваторской тужурке и рядом с ним стоял слепой еврей в синих очках и, уткнув скрипку в ключицу, а подбородок в скрипку — водил худыми очень длинными пальцами мяукающий смычок. Гул голосов покрывал все.

— Маша, водки две стопки — закричал матрос, не отводя темных глаз от лица студента. И когда принесли водку, он твердой, несмотря на то, что был пьян, словно каменной рукой, налил из графина стакан. Потом он тяжело встал и подошел к студенту.

— Виноват, коллега, позвольте вам предложить. Водка. — И поставил перед студентом полный стакан. Студент вздрогнул, и табак, которым он набивал в эту минуту трубку, неловко посыпался между пальцами на мокрую зелень и черноту клеенки. В изумлении, стиснув в руках трубку, он смотрел на матроса. А матрос, ловко захватив из кармана зажигалку и на лету выстрелив ею, поднес дымное

багровое пламя к лицу студента. Студент машинально закурил и улыбнулся.

— Вы очень любезны. — И вдруг зрачки у него расширились и темная тень упала на лоб.

— Что вы так на меня смотрите?

— Выпейте, — сказал матрос.

И пока студент пил противную плохую водку, чувствуя ее вес и качанье в стакане, матрос разглядывал крошки табаку на клеенке и бормотал: «английский капстен».

Выпив, студент почувствовал, что вокруг что-то начинается, не то убавилось света, не то прибавилось дыму, и все чудесно и неудержимо потекло мимо глаз. И уж ничто не было странным: ни то, что черкесы махали шашками, ни то, что чужой матрос смотрел внимательными глазами и дышал спиртом. Он достал еще порошку и понюхал. Аптекарская, апельсинная свежесть и холод захватили горло и оно стало немым. Передние зубы замерзли и стали нечувствительными и деревянными, и вместе с тем все стало понятным, простым и до того несложным, что можно было нарисовать.

— Хотите, — спросил он матроса, протягивая порошок.

— А что это такое, спросил матрос. — Не хочу.

— Как хотите.

— И чувствуя к матросу удивительную нежность, студент стал долго и обстоятельно, проверяя и стараясь говорить именно так, как он думал, рассказывать о своей невесте и о том, что когда играет музыка, звуки кажутся то черными, то белыми, и о том, что жизнь очень сложная и страшная вещь и

похожа на сказки Гофмана. И о том, что он больше жить не может и что его мучит прошлое.

— Вы только представьте, вы только подумайте, — говорил он — я ничего не знаю, я ничего не понимаю. Но только то, что было, тот прекрасный изумительный мир, который был раньше, навсегда и безвозвратно умер. То, что в городе голод — не важно. То, что не во что одеться — тоже не важно. Важно, что нет новых книг и нет новых журналов, нет сотни тех мелочей, из которых складывалась прошлая жизнь. Вы меня понимаете. Поймите. Представьте себе так: 1911 год. Зима. Пять часов вечера и вы возвращаетесь домой. В темной столовой, над крахмальной скатертью горит лампа. Сквозь густой белый колпак пламя кажется красной коронкой. За окном снег. Все сине, а здесь тепло и хорошо от натопленной печки. А на столе лежит только что принесенная почта. От туго сложенных, забандероленных газет пахнет сыростью и морозом, а от писем холодным яблочным клеем. О, какой длиный путь они совершили: из Москвы, из Вологды, из Вятки, к югу. И представляешь себе Россию, как шкуру огромного белого медведя, по которой во все стороны ползут поезда. Сугробы завалили полустанки. Фонари горят в заре, как елочные звезды. Возле проруби стоят игрушечные кустарные бабы с ведрами, а вагон мотает и хочется спать, и фонарь, задернутый красной занавеской, стрекочет кузнечиком. Ах, всего этого нельзя рассказать. Об этом можно только написать стихи. Вот, хотите, я вам прочту . . . И он суетливо полез в боковой карман, но вдруг побледнел: прямо против него, глядя в упор, протекали жестокие сумасшедшие глаза матроса.

— Продолжайте, продолжайте. Письма, Газеты. Медведь. А Колю кто расстрелял? Говори, контрразведчик. Стой, молчи.

— Студент быстро встал и отвернулся, не в силах пошевелиться.

— Эй, играйте похоронный марш, даю десятку, — закричал матрос, покрывая шум. — Прошу всех встать. Вечная память тебе, Коля!

Кое-кто встал, кое-кто не услышал. Музыканты оборвали «графа Люксембурга», пошептались и стали играть траурный марш Шопена. Матрос положил руку в карман. Студент был недвижим.

— Письма, газеты, шкуры, — кричал матрос, — почитай-ка, почитай-ка свои стихи. Молчи, негодяй. — И не успел студент повернуть голову от стенки, как матрос закричал во весь голос:

— Товарищи, смотрите все, это поручик Гесс, контр-разведчик, бейте его!

Студент закрыл глаза и в ту же секунду почувствовал, что с ним происходит что-то ужасное непоправимое, и все летит к чорту. Вторая пуля попала в стенку, и белая штукатурка посыпалась на черное пальто лежащее на полу. Сейчас же раздался женский крик, и на пол полетел поднос. А матрос, расталкивая локтями людей, кошкой бросился к лестнице и, быстро выдвигая по очереди то правое, то левое плечо, как по трапу, взбежал по ней на улицу в темноту, туда, где над домами стоял спустившийся месяц, краем своим касаясь черной трубы.

ОПЫТ КРАНЦА

Некий молодой человек по фамилии Кранц, студент-математик, белокурый, коренастый малый с коротким, твердым немецким носом, костистым упрямым лбом и широко расставленными синими глазами, больше всего на свете любил чистую математику, и от жизни ничего не ждал: ни хорошего, ни дурного. Любил он математику потому, что ея простая, сложная и точная философия очень хорошо подходила к его привычкам, взглядам на мир, и с нею ему было очень удобно жить на свете. Главную цель жизни он полагал в том, чтобы думать правильно, точно, логично и, благодаря этому, видеть мир таким, каким он был на самом деле, а не таким каким его себе представляло большинство людей не изучавших высшей математики, читавших романы и стихи влюбляющихся в женщин и посещавших театры. Средством к достижению этой цели, были те необходимые условия, в которых можно было бы спокойно думать: теплая комната, удобная одежда, обед, чай и папиросы. Кранц жил скромно и денег тратил мало: столько, сколько ему нужно было на комнату, еду, книги, письменные принадлежности,

трамвай, прачку и папиросы. Одет он был всегда хорошо, однако не щеголевато, в синие диогоналевые брюки, аккуратно облегавшие его короткие, икрастые ноги, и в толстую черную форменную тужурку, слегка вытертую по швам, но хорошо сидевшую на его плотном туловище и широких плечах. Толстые отвороты этой тужурки были всегда тверды, хорошо разглажены и торчали, не сгибаясь, толстыми дубовыми углами. Кранц писал сочинение на медаль: вычисление орбиты кометы 1873 года. Работа была очень трудная, чисто теоретическая и интересная.

И ничего не нарушало извне покоя этой работы. За толстыми стенами загородного дома умирал осажденный город, этот последний буйный, огнистый и крикливый Вавилон. Солдаты четырех европейских держав маршировали по его нарядным улицам. Продавщицы цветов торговали на углах хризантемами, пышными и вычурными, как седые головы маркиз и тонкий запах разложения неумолимо стоял над праздной толпой. Кафе еще переполнены красивыми женщинами и офицерскими пальто, синий сигарный чад смешанный с чадом дорогих духов и горячего кофе волновал отуманенных, потерявшихся людей, обещаньем необыкновенного какого-то счастья, но уже на конспиративных квартирах собирались суровые твердые люди, в подпольных типографиях ручные станки тискали листки серой бумаги, полные какого-то странного, неодолимого значения и откуда то из таинственного центра приезжали руководители восстания. Красные войска все ближе и ближе подходили

вплотную с трех сторон к городу и уже половина безумцев пьющих в кафе красное вино и нюхающих кокаин, играющих в карты и наслаждающихся любовью, заключающих сделки и подписывающих торговые договоры — была обречена. Но ничего не знал студент в своей квадратной, светлой комнате. В ней стояла железная кровать, книжный шкап и возле большого, ясного окна — письменный стол, покрытый алой промокательной бумагой, точно и плотно придавленной к доске кнопками. На столе были в порядке разложены письменные принадлежности, книги и листы исписанные некрупным, экономным почерком. На подоконнике на четвертушке белой чистой бумаги была насыпана горка пахучего, медово-золотистого табаку и от него в комнате всегда стоял медовый запах. Возле стола, на стене висела черная классная доска, вечно исчерченная белыми, косыми колонками цыфр, букв, знаков и мелкими пересекающимися эллипсами, окружностями, дугами и прямыми, высчитанными и вычисленными с огромной точностью. Была осень и работа приходила к концу. С каждым днем Кранц все больше и больше постигал законы по которым совершались движения звезд, планет, комет и целых миров. Думая об этом, он привык думать цыфрами, формулами и дугами, и жил в их точном, законном и гармоничном мире. Кранц думал над смыслом жизни. Дойдя способом логического мышления до того, что главная цель жизни человеческой есть необходимость правильно думать, а остальные все необходимости являются при этом неизменными и случайными, он решил, что это необходимо

подтвердить опытом. И он придумал опыт, который состоял в том, что он студент Кранц, должен был три вечера подряд ходить в карточный клуб, выиграть в азартную игру 50 тысяч и, выиграв их, против соблазна совершенно не изменять своей жизни и продолжать тратить на себя столько же денег, сколько он тратил до сих пор: т. е. на самое необходимое. Этот опыт должен был доказать ему две вещи: во первых, что сила мысли и способность логически управлять ею должна победить силу случайного, но неизбежного, мира воображенья тех людей с которыми он будет играть, и во вторых, что тот неосязаемый мир, который неизбежно окружает мир физический и осязаемый не имеет для него никакого значения и является в нем чисто случайным. Впрочем, точно Кранц не знал в нем, собственно, является сила и необходимость этого опыта. Он чувствовал, что опыт имеет эту необходимость и силу. И в первый раз в жизни, сам не сознавая того, студент Кранц подчинился тому, к чему он пришел не путем строгого законного мышления а путем чувства. Придумавши себе этот опыт, однажды вечером, Кранц взял дома двести рублей, пошел в карточный клуб, походил четверть часа между игральными столами в зале, где играли в шмен-де-фер, подумал, подсел к одному из них и через час выиграл 10 тысяч.

В тот же вечер молодой артист маленького веселого театра по сцене Зосин, сидел в пустой общей уборной и разгриммировывался. Окончив свой номер он больше не был занят в тот вечер на сцене и мог уйти, а потому не торопился.

Зосин перед зеркалом снимал со своего лица грим Пьерро. Он густо смазывал вазелином краску, которая уже успела высохнуть на щеках, на лбу, вокруг рта и глаз и неприятно стягивала кожу. Из зеркала на него смотрели густые черные, трагические брови, рот красный, как рана, синяки под глазами и мертвые щеки. Только уши теплые, розовые и живые, не тронутые гримом, отделялись от белой краски щек.

Зосина лихорадило. На сцене было холодно, и от поднимаемых и переставляемых декораций, от занавеса и из зрительного зала дуло ветром. А за кулисами, в уборных было крепко натоплено. Калориферы потрескивали от жару, пахло масляной краской, и к ним нельзя было притронуться. От этого кружилась голова. Зосин, смазав лицо вазелином, стал его протирать полотенцем, выставляя вперед разные части лица: то лоб, то глаз, то подбородок и шею. И по мере того, как сходил грим, обнаруживалось его настоящее лицо. Из-под черных нарисованных бровей выступали другие, тоже черные, но тонкие и коротенькие брови, на щеке стала видна большая, коричневая родинка, и тонкий нос с горбинкой принял свою точную, настоящую, законную форму.

Протертое, очищенное лицо все сияло и блестело сухим блеском под огнем двух лампочек по сторонам зеркала. Зосин видел свое сияющее, блестящее лицо не только в зеркале, он видел и чувствовал его вне зеркала и обозначал его форму и об'ем змейками лучистого блеска. Лучи исходили от глаз, от щек, от носа и бровей, они тянулись тонкими иг-

лами к зеркалу, касались скользкой поверхности и, отраженные, уходили вглубь его, к лицу, отраженному в нем.

Кроме своего лица, Зосин видел в зеркале афишу, висевшую боком на стене за его спиною. Нижние края у нее осторожно шевелились, подворачивались и вздрагивали.

«Ага, — подумал Зосин про афишу, — ты думаешь, я тебя не вижу, и шевелишься у меня за спиной. А я тебя прекрасно вижу в зеркале. А ну-ка ну-ка, еще малость, посмотрим».

И сейчас же испугался своих мыслей:

«Боже, ее — сквозняк, а я схожу с ума». . . подумал он опять.

Во рту у него было сухо и горячо, во всем теле — слабость, и волосам — болезненно щекотно. В соседней уборной слышались женские голоса и шорох платья. Эти голоса и шорох особенно резко звучали в мозгу Зосина и делали ему почти физическую боль. Глазам и ресницам было душно. Он оделся и вышел.

Когда он проходил в зрительный зал по коридору, где блестела каска пожарного, у входа на сцену, Зосина обдало теплым благоухающим ветром, и мимо лица поплыл голубой газовый шарф. Танцовщица Клементьева, твердо ступая плоскими подошвами по доскам коридора, прошла на сцену. Она была почти обнажена. Ее ноги, обтянутые розовым трико, напрягались легко и свободно, и хорошо развитые икры, плечи и шея казались налитыми грубой и чувственной силой. За нею, опустив побычьи шею, шел ее партнер и любовник, тоже затя-

нутый в розовое, безразличный, с нарисованными угольными ресницами. Клементьева была знаменитой балериной и развратной, продажной женщиной. Это знали все. Зосина волновала ее фигура, ее плавные, округленные руки, крепкие икры и то, что все знали и говорили о ее развратности и доступности. Увидав ее в корридоре, Зосин опять почувствовал то сильное и нервное состояние дрожи не только тела, но и души, которое может вызвать в человеке только чувственность.

Ощущая на щеках жар, Зосин смотрел из темноты зрительного зала на сцену. Музыка звучала страстно и откровенно, и невидимо разноцветные звуки беспрерывно лучисто струились снизу из освещенного оркестра, то рассыпались прозрачно стеклянными, длинными, томными волнами. Эти звуки всей своей страшной силой обнажали скрытые чувства и мучили, обещая то прекрасное, чего все равно не в состоянии были дать.

По сцене, в синем свете рампы и трепещущих и шипящих фиолетовых пятнах реклектора, носилась Клементьева со своим любовником. Все их движения были точно и мягко овальны, разноцветны, и казались составной и неотделимой частью музыки. Два прекрасных и порочных тела мужчины и женщины, беспрерывно, легко и быстро двигаясь, выражали в своих движениях и формах, какую-то упорную и главную мысль. Эта мысль звучала в музыке, в высоком шипении фиолетовых пятен и в той натянутой тишине, которая стояла над сотнями людей, невидимых в темноте зрительного зала.

Этой главной и смутной мыслью был полон и актер Зосин.

У него болела голова и после вчерашнего кокаина чувства были притуплены. На красивой, классической голове танцовщика сверкал синими блестками чешуйчатый шлем; синие звездочки безпрерывно вспыхивали в сумраке сцены, меняя места, сливаясь одна с другой и потухая. От этого Зосину казалось, что перед его глазами сыплются и переливаются синие стеклушки калейдоскопа. В сердце у него ныло. . .

Неправда, когда говорят, что смысл жизни и счастье — в книгах мудрых и великих людей; неправда, когда говорят, что высшее проявление человека на земле — искусство; неправда, что любовь — это самое святое и лучшее, что есть в душе у человека. Неправда, неправда. На земле есть только одно настоящее неоспоримое и истинное счастье — счастье вкусно и много есть, одеваться в лучший и дорогой костюм, обуваться в лучшую и самую дорогую обувь, иметь золотой портсигар, шелковые носки и платки, бумажник красной кожи и столько денег, чтобы можно было исполнить все свои желания и иметь любовницей развратную, доступную и прекрасную женщину Клементьеву. Так чувствовал Зосин, смотря на танец и слушая музыку, и вместе с этим чувством в нем поднималось острое и что-то обещающее томление и горечь. Ему представлялось, что скоро, именно сейчас, нынче вечером, должно случиться что-то очень важное и значительное, отчего все должно перемениться и сделаться таким, каким было нужно. Вместе с тем, он знал,

что этого не случится, потому что этого важного и значительного совсем не существует, и потому, что такое представление всегда и было и обманывало его на другой день после кокаина. И всё-таки, повинуясь чувству, которое было сильнее, чем все его другие чувства, он пошел искать это важное и значительное. Это чувство было похоже на то, с каким он, шестнадцатилетним гимназистом, в туманные, весенние вечера быстро и торопливо обходил темные и таинственные переулки, где по тротуарам ходили женщины.

Тогда ему было душно, глаза и волосы горели, во рту было сухо и жарко, и от странного и острого напряжения он шатался, как пьяный, и издали принимал за женщин ночных сторожей и городовых.

Тогда ему хотелось полового сношения с женщиной, но он еще думал о какой-то другой, нежной, настоящей любви; желание женщины казалось ему страшным грехом, и он придумывал для себя оправдания; придумывал, что ищет какой-то необычайной встречи. Тогда он верил и не верил себе. С точно таким же чувством вышел он теперь из театра.

Шел дождь. Розовые фонари жидким золотом плескались в лужах, блестели на черном асфальте тротуаров и мутными, опустившимися планетами светились в улицах и между домов. Сквозь дождь, проходили темные люди и блестели мокрыми плащами и зонтиками. Колеса извозчиков трещали по мостовой и подковы высекали на мокром граните искры. Пели и со звоном сверкали трамваи. За ни-

ми с проводов сыпались голубые капли и с легким треском зажигались ослепительными звездами, и небо со всех сторон вспыхивало зарницами. Зосин шел по тем же таинственным и темным переулкам, по каким он ходил в юности, но ни одна женщина не подходила к нему, вероятно, чувствуя своим особым верным чутьем, что у него нет денег. Зосину это было оскорбительно и мысли о деньгах опять поднимались в нем и мучили его, и он бессознательно шел туда, где их было много, где они почти не имели цены, но где их страшная сила чувствовалась и говорила о себе во всем.

В клубе «Аркадия» к 11 часам уже шла крупная игра. Клуб был небольшой, и попасть туда можно было всякому, но бывали в нем средней руки торговцы, актеры, шуллера, и игра бывала крупная. Играли в шмен-де-фер. В нем было несколько больших квадратных комнат, и в каждой была своя собственная, отличная от других, атмосфера. За каждым столом, каждый вечер, собирались одни и те же люди, говорились одни и те же слова, поговорки и было одно и то же настроение. Зосин вошел в ту комнату, где было свободнее, где можно было мазать и где он бывал всегда.

В этой комнате было всегда народу больше, чем в других, и веселее. Входя в нее, он привык видеть одни и те же лица и спины. Прямо против двери был стол, за которым всегда сидел лицом ко входу толстый и красный артельщик, направо — куплетист Звездалов, налево сыщик в сером костюме с острым носом и курчавой головой, а спиной к двери — девица Тамара, в черном платье и с поддельным

жемчугом в толстых и больших ушах. На этот раз Тамары не было, а вместо нее Зосин увидел затылок и белокурую шевелюру. Незнакомый студент, широко расставивши короткие руки и упершись пальцами в лаковый край стола, пускал шары дыма и коротко говорил: «Триста. Довольно. Моя». По тому, как он говорил, и по лицам игроков было видно, что он занимает среди игроков особое положение.

— Мажешь? — спросил куплетист, увидев Зосина.

— Да, помажешь, — ответил Зосин, махнув рукой, — горим, брат. На папиросы нет денег.

Он пошел к столу и стал смотреть. Карты быстро и легко перелетали на зелени, ложились на сукно и собирались в хрустящие веера в руках игроков. Щеточки, мелки, пепельницы, белые цифры, недопитые стаканы смешивались с кучками бумажных денег. Из пепельниц к потолку поднимались крутящиеся, тугие и белые нитки. Сквозь табачный дым, огни лампочек, горели матово и четко, а лица и фигуры казались нарисованными густой мутной пастелью. Внизу, в ресторане, играл струнный оркестр, и от его фальшивых, страстно надорванных звуков Зосину все казалось, как в кинематографической картине: красивым, нетелесным и обещающим. Слова и фразы, произносимые разными голосами, отмечались у него в сознании, как-будто бы он их не слышал в действительности, а читал в книге. «Пятьсот сорок... Забирайте. Дама просит. Король веселится. Да, держись, ты лопнул! Снимайте. Готово!.. Даю... В банке тысяча двести. Дайте

тысячу. Получите. С вас четыреста шестьдесят». Оркестр играл разные вещи, и когда они менялись, менялись и впечатления Зосина. Ему казалось, в синем лунном свете сквозь мелькающий и трепещущий кустарник пробирается охотник с ружьем. Ветки кивают и бьют его по лицу... Белое шоссе, по шоссе летит облако пыли — автомобиль. За автомобилем издалека гонятся всадники... Автомобиль мгновенно вырастает, мелькая, заслоняет полотно и исчезает.... Всадники мчатся... вырастают, заслоняют полотно, скрываются. Женщина в белом, графиня, у пруда... Вода разбегается черными живыми кольцами. Она бледна. Плывут лебеди. К ней безмолвно подходит мужчина в летнем костюме, панаме, в безукоризненных лаковых туфлях. Он склоняется к ея руке... Карточный клуб. Дым от папирос. Крупная игра. В мелькании ленты, мелькают руки, лица и карты. «Домбле. Ваша взяла! В банке четыре тысячи... Попрошу... Короли веселятся. Даю. Довольно. Ваша! Тысяча шестьсот и мы квиты... Ваша дама просит, виноват.. Пожалуйста. В банке шесть тысяч четыреста». Зосин видел, как лицо артельщика краснело, напрягалось все больше и больше, глаза становились маленькими, жалкими. Сыщик беспокойно поворачивался на месте, а куплетист стал хрипло насвистывать и жевать губами. Спина незнакомого студента не шевелилась, руки все так же твердо и определенно опирались о край стола. Возле него, справа, была куча бумажных денег. Он отнял от стола правую руку, как деревянную, согнул ее в локте и вытащил из бокового кармана потертый, но хороший желтый бумажник; ак-

куратно пересчитал деньги, сложил их в толстую пачку, и рука его опять деревянной лопаточкой опустилась в боковой карман. Артельщик волновался все больше и больше. Игра продолжалась. Теперь был поединок между студентом и артельщиком. Он играл на все свои деньги, а денег при нем было много. Вокруг стола собралась толпа. Артельщик от волнения проголодался, велел себе подать порцию телятины. Он тупо, не глядя на тарелку, шарил в ней вилкой, клал в рот большие куски, плохо их пережевывал, и левая щека у него была все время раздута от еды, будто он держал за нею и поварачивал языком тугой резиновый мяч. Зосин стоял боком и смотрел на игру. Он волновался, и, как это всегда бывает, страстно желал, чтобы поскорее выиграл кто-нибудь один. Так как все время выигрывал студент, то он ждал, чтобы выиграл именно он. Когда студенту не везло, он отходил от стола, нервно прохаживался по залам, крутился вокруг других столов и возвращался снова поскорее увидеть, что студент опять выигрывает. Он брал у куплетиста папиросы и жадно курил. В буфете товарищи угостили его коньяком, и голова у него, как у всех слабых и нервных людей, уже начинала сладко кружиться от дыма, людей, звуков и света, и главное, от кучи денег, которую он видел возле толстого диагоналевого локтя студента. Студент снял последний банк, пересчитал деньги, спрятал в толстый бумажник и опять, согнув руку твердым, деревянным углом, опустил лопаткой за толстые отвороты тужурки.

— Девять тысяч пятьсот всего, — сказал он, поднимаясь. — Довольно!

Торговец деланно улыбнулся и сказал:

— Вам везло. В последний раз вы побили девять рук. Может-быть, разрешите отыграться в кредит.

— Играю только за наличные, — ответил студент. Если угодно, завтра. Буду здесь в это же время.

Он повернулся и, не торопясь, часто ставя ноги, пошел в буфет, выпил стакан содовой воды, закурил толстую желтую папиросу и посмотрел на часы. Зосин пошел за ним и, когда он закуривал, сказал, сам не зная для чего, и презирая себя:

— Виноват, коллега, вы хорошо сняли банк, теперь не мешало бы выпить. Согласитесь, крупный выигрыш. . .

Студент твердо посмотрел на него.

— Не пью.

— Извиняюсь. Очень жаль, в таком случае на что же вам деньги, так много?

— Решительно ни на что. Опыт. Сегодня я выиграл около десяти тысяч, завтра выиграю двадцать, после завтра — пятьдесят, а они мне совершенно не нужны. Я их потом сожгу. Дело не в деньгах, потому что надо жить для того, чтобы думать. Да.

Студент говорил то, чего он совершенно не хотел сказать, чего не нужно было говорить этому, совсем чужому, человеку, но не мог удержать себя и говорил именно тем особым тоном, каким всегда говорят в клубах счастливые, много выигравшие

игроки с бедными, не играющими, неизвестными молодыми людьми, которые их окружают. Глаза у него блестели и на щеках выступил очень легкий румянец.

— Вы полагаете, что деньги не нужны, но позвольте... я бы, например... Эх!.. В таком случае подарите их мне, что вам стоит.

— И вам они тоже не нужны.

Кранц сошел вниз, в ресторан, выпил там еще стакан кофе с пирожными и послушал музыку. И кофе, и пирожные, и музыка были ему чрезвычайно приятны, и он сладко думал, что заслужил их. Потом он пошел домой, а Зосин вышел вместе с ним. Голова у него кружилась и весь он был полон того неудовлетворенного желания и томления, которое в нем вызывала Клементьева. Теперь, под хмелем, он заново, по новому, переживал те ощущения, какие он испытывал, сначала сидя у себя в уборной, а потом глядя из зрительного зала на синюю сцену, по которой мелькала она. Теперь ему почему-то казалось, что в то время, когда она танцовала и он думал о ней и желал ее, между ними установились какие-то отношения; что она, не видя и не зная его, чувствовала его влечение и отвечала на него каждым своим движением, блеском глаз, улыбкой красного рта. Он был уверен, что она теперь уже, не зная его, чувствовала его страсть, ждет его и будет принадлежать ему. Зосин думал, что после выигрыша студент поедет домой на извозчике, но Кранц пошел пешком. И вот, поддаваясь необ'яснимому и сильному чувству, не думая для чего он это делает, и что из этого может вый-

ти. Зосин, пропустив студента вперед, пошел за ним. Его притягивали деньги. Дождь почти прошел, но немного моросило. Ночь была так же черна, только не вспыхивали зарницы трамваев, только огней было меньше и не так туманно. В улицах было пустынно. Зосин шел за Кранцем и думал так: «У него есть девят тысяч. Девят тысяч. Они ему не нужны. Если бы они были у меня, я бы купил себе чудесный костюм, хорошо бы ел, спокойно спал и взял бы себе хоть на два дня танцовщицу Клементьеву. Они ему не нужны, а для меня это было бы таким огромным, таким исключительным счастьем. Как все несправедливо на свете! Почему мне никогда не везет в карты, а ему везет, а главное, ему самому не важно, что везет, почему он не хотел их отдать мне? Ему все равно, — для меня это нужно и важно. Нужно так, чтобы эти деньги были у меня. Если он не хочет их отдать, нужно взять силой. Деньги всегда нужно брать силой. Я его убью». Эти мысли не поражали его, не волновали и казались обыкновенными. «Если я не умею взять деньги другим способом, нужно взять их этим. Именно этим, а не каким-нибудь другим. И я возьму. Если я неспособен ни на что другое, я должен убить. А если я неспособен даже на убийство, значит, я — ничтожество и должен всегда жить, как ничтожество. Неправда, что есть совесть и какие то законы, не разрешающие убить. Неправда, что это преступление. Неправда, неправда! У меня нет хорошего костюма, я не могу жить так, как хочу жить, я не могу иметь любовницей балерину Клементьеву потому, что у меня нет денег.

Это правда. Это — настоящее. И я его убью. Сейчас я его не могу убить, потому что у меня нет револьвера, но я убью его завтра, если он опять выиграет. А если он выиграет, значит, на свете нет справедливости и, значит, я прав, а он виноват». В это время Зосин знал и чувствовал, что сможет убить студента и убьет его непременно. Студент жил далеко на окраине города, там, где были казармы, пустыри и дачи. Не замечая, что за ним кто-то идет, он шел, курил и тоже думал. Думал он коротко, ясно и скупо о том, что опыт его удается, должен удаться и непременно удастся. Он думал о вычислении орбиты кометы, думал цифрами, формулами, пересекающимися легкими и точными эллипсами, окружностями и бесконечными прямыми, и уважал себя. Когда он открывал ключом, внимательно согнув спину, калитку, а потом скрипнул ею, Зосин знал, как завтра все произойдет, так ясно, как будто бы это уже было. Фигура студента подошла к калитке, наклонилась с ключом, он сделал два шага вперед из тени ограды и выстрелил студенту в фуражку, студент, царапнув ключом калитку, мягко и тяжело сел и упал; он повернул его за плечи лицом вверх, расстегнул пальто, достал из-за твердых разглаженных отворотов тужурки кожаный бумажник, положил его в карман и пошел прочь, не торопясь и не волнуясь. На углу под розовым блеском фонаря ночной сторож в тулупе спросил его: «Где это стреляют?» «Чорт его знает.. Теперь всюду стреляют», — ответил он и пошел мимо. Сторож подумал, постучал колотушкой и пошел гулять вдоль дач, и тень его все растягивалась

в темноту. А потом все было так, как нужно: новый костюм, сытный обед, деньги и балерина Клементьева.

Зосин вернулся домой и заснул на рассвете. Спал он тяжелым сном. Во сне он чувствовал, что не свободен, а связан какими-то непрерывными и неосязаемыми нитями с Клементьевой и неизвестным студентом. Он чувствовал, что вне их он уже существовать сам по себе не может, и что чем скорее все кончится, тем лучше. Кончится должно было только выстрелом.

Балерина Клементьева тоже заснула на рассвете. Она спала на этот раз со своим любовником. С того самого момента, как она прошла по коридору, за кулисами театра, мимо Зосина, ею овладело томление. Она не знала и не могла знать, что это томление происходит от того, что о ней все время думал и ею любовался Зосин. Она танцовала поэтому особенно нервно и страстно, не понимая в себе этой страсти и увлекаясь ею. В эту ночь, на рассвете, балерине Клементьевой приснилось что-то чудесное и волнующее, чего она потом никак не могла ни вспомнить, ни забыть.

Студент Кранц заснул сейчас же, как пришел домой. Ему ничего не снилось, а проснулся он от выстрела. Он открыл глаза, но все было ясно и тихо. В соседней комнате, в столовой, у хозяйки, пили чай и стучали посудой, было поздно — 10 часов. Он вспомнил про выигрыш и огляделся кругом. После дождливой ночи наступил безоблачный, яркий день. Солнце било, и окна, и комната горела янтарным светом. В комнате все блестело, лучи-

лось, и Кранцу казалось, что все полакировано желтым лаком. Вечером Кранц опять отправился в клуб играть. Зосин с револьвером пришел после него. Все было по старому, только вместо проигравшегося куплетиста Звездалова справа сидел артиллерийский штабс-капитан с длинным измученным лицом, который все время легко перебирал карты длинными красивыми пальцами с большим аметистом, игравшим в золоте на мизинце. За вчерашний день Кранц вполне постиг технику игры и успел заметить слабые места партнеров и он боялся того, что уже втянулся в общую атмосферу игры. По его расчетам, чтобы счастливо играть, надо было быть вне этой атмосферы, и он старался, играя, не считаться с тем, что ему говорили лица, жесты и глаза. Он только старался, когда везло, итти крупно, а когда не везло итти мелко. Для этого нужна была очень большая выдержка. Она у него была. Кранц расчитывал выиграть в этот вечер еще тысяч пять, но штабс-капитан принес с собой много денег, артельщик, желая отыграться, волновался, ел телятину и проигрывал тысячу за тысячей. И к часу ночи выигрыш студента Кранца перевалил за 40 тысяч. Это было для него самого неожиданностью, но еще тверже уперся рукой в край стола и так же спокойно, но немного отрывисто говорил: «Пять тысяч. Довольно. Моя». С каждой тысячей Зосину становилось все страшнее и страшнее. Захватывало дух и в глазах рябило от денег, дыма, огней, лиц и карт, в ушах звенело от голосов, музыки, шарканья ног. Зосину становилось страшно не потому, что он должен был убить и ограбить студента, а потому, что

он боялся, чтобы студент не проиграл всех своих тысяч. Когда Кранц начинал проигрывать, актер, как и в первый вечер, в волнении уходил бродить по комнатам, подсаживался к знакомым, курил чужие папиросы, пил коньяк, но не пьянел и возвращался назад, дрожа и потирая потной ладонью горящие щеки и волосы. Опять перед ним мелькали кинематографические фильмы, автомобили, всадники, синие, лунные ночи. Он останавливался перед толстой спиной студента, смотрел на его белокурую шевелюру и розовый затылок и, напрягая всю свою волю, думал: «ну, довольно же, встань. Забирай деньги и уходи. Слышишь, уходи, уходи».

К двум часам ночи к столу сошлись игроки из других комнат и было тихо. Торговец бледнел, краснел и жевал телятину, не попадая вилкой в тарелку, и сминая в потных руках карты. Ему опять не везло. Штабс-капитан был бледен, как салфетка. Сыщик блестел острыми глазами по сторонам и боялся встретиться с чьими-нибудь чужими глазами.

— В банке пятьдесят четыре тысячи, — сказал студент. — Дайте карту. Четыре тысячи. Даю. Довольно.

Он открыл карты.

— Ваша! . .

Он задумался. Он знал, что если сейчас не встанет, не уйдет, то проиграет все. В сердце у него стало холодно. Он собрал все свои мысли в складку над переносицей и сказал:

— Довольно, снимаюсь.

И дрожащими пальцами собрал деньги в бумажник и встал.

— Резрешите отыграться, — прошептал артельщик.

— Завтра, — сказал студент, вышел в буфет и выпил стакан содовой воды, пахнущей гигроскопической ватой. Зосин пошел следом за ним. Кранц опустился вниз, в ресторан, и заказал ужин. «Великолепно, — подумал Зосин, — я как раз успею». Он вышел из клуба и пошел к дому, где жил студент. На окраинах, среди пустырей и дач, на шоссе, было пустынно и страшно. Ночью ударил мороз, мокрая земля обледенела и была твердой, скользкой и блестящей, как черное стекло. Под каблуками, на лужах трещал звездами лед. Дул северный ветер, и от него голые, блестящие ветки деревьев, тяжело шатались, трещали и упруго свистели. Небо было чистое, черное и яркие крупные созвездия дрожали и переливались от холода. Зосин отыскал дачу, где над калиткой горела мутным фосфором цифра 7. Он стал в тени у ограды, и, ожидая, смотрел на розовое зарево, которое стояло в черном небе над городом. Зарево погасло, во всем городе погас свет, и звезды стали ярче. Зосин боялся, чтобы студент не приехал на извозчике. Стало холодно, ноги закоченели и стали деревянными, но актер не шевелился. «Я сейчас убью... я сейчас убью... А если нет, то навсегда останусь жалким, ничтожным и бедным актером театра миниатюр, с грошевым жалованьем. Пятьдесят тысяч... Я должен убить, иначе я ни на что не годен. Иначе я трус». Далеко послышались звонкие и твердые, частые шаги. Они гулко отдавались где-то в стороне гулким четким эхом и, казалось, что идут двое. Зосин еще больше

подобрался в тень и закусил губу. Кранц подошел к калитке вынул ключ и, внимательно согнувшись, стал открывать калитку. Зосин не шевелился. Сейчас нужно выстрелить, и вдруг он почувствовал, что не может — и не выстрелит. Он окаменел, и все в нем опустилось. Калитка заскрипела, студент вошел в нее, захлопнул изнутри, и его шаги растаяли на ветру. Зосин чувствовал, что бледнеет, и в темноте видел свое бледное лицо. Дрожа мелкой, унизительной дрожью, он быстро пошел обратно. Ночной сторож в тулупе повернул к нему голову и, топая об землю валенками, спросил:

— Не знаете, который час?

— Чорт его знает. Теперь всюду стреляют, — сказал Зосин и, дрожа пошел дальше.

Он провел ужасную, бессонную ночь. Он презирал себя за трусость и с силой тер ладонью горячие виски. Он ненавидел студента и думал: «он еще придет играть завтра, он выиграет и я его непременно убью. Даю честное слово, что убью». Он стал на колени, поднял, как для присяги, два пальца над головой и прошептал, стиснув зубы клещами: «Клянусь всемогущим богом, что завтра я убью этого студента, а если не убью, то застрелюсь сам». Он знал, что эту клятву он исполнит, но все таки не успокоился; ему в голову приходили какие-то странные мысли и представления, но не в форме образов или слов, а в форме каких-то странных сочетаний, тяжелых, острых каменьев, которые сыпались, поднимались стенами, опять рассыпались и никак не могли войти и уместиться в какую-то не-

обходимую тесную меру. Они были похожи на картины кубистов. У него начинался жар.

Студент Кранц тоже не мог уснуть; его сознание не вмещало того, что у него были 50 тысяч. Ему представлялись цифры, формулы, эллипсы, сыпались карты, играла музыка и он никак не мог остановить эти трудные, острые образы и начать думать холодно и точно, так, как и надо было думать человеку. Ему представлялась собственная квартира, жена, дети, удобный кабинет, книги, научная библиотека, поездка за границу, лучший табак. Он знал, что это все противоречит его представлению о жизни и человеке, но ничего не мог сделать и отдавался им. Завтра он пойдет в клуб, выиграет еще 30 тысяч и сожжет их. Это будет непременно, обязательно, иначе быть не может. На одну минуту ему удалось только ясно и определенно сказать самому себе, что если он выиграл 50 тысяч, значит, этого достаточно, и ходить рисковать больше не следует, но сейчас же ему в голову пришло оправдание, что он был в клубе два вечера, а нужно было быть три.

Томление балерины Клементьевой не проходило, а становилось все острее, горше и непонятнее. Зосин опять перед клубом смотрел на ее танцы. Клементьевой стал противен любовник: когда она лежала вместе с ним в постели, ее трясло от отвращения. Она не могла чувствовать его холодные волосатые ноги и слышать его дыхание. Ей казалось, что он дышет чем-то нечистым и гадким и что от него дурно пахнет испорченными зубами. Он хотел ее поцеловать и потянул к себе. Она выпрыгнула из кровати, подбежала к окну, села на подоконник

за занавеску и, стуча зубами, изо всех сил прошептала: «Оставьте меня! Не прикасайтесь ко мне. Я вас ненавижу. Животное!» — и забилась в истерике.

С осунувшимся белым лицом и синими кругами под глазами, в нечищенных сапогах и грязной манишке Зосин ходил по комнатам клуба и грыз ногти. Воздух был тяжел и мутен, как в тяжелом сне. Шея у Кранца была багровой, сыщика не было. Вместо него сидел бледный, черный человек с синими ресницами, удивленными глазами и красным ртом. Короткие пальцы студента дрожали, когда он сдавал и принимал карты. Он уже не спускал руку лопаткой за твердые отвороты своей тужурки. Возле него на столе валялись кучи денег, и эти кучи он карта за картой отдавал бледному господину.

— Виноват. Одиннадцать тысяч. Извольте. Ваше. Извольте.

— Позвольте . . .

Представление о десятках и сотнях тысяч в формулах, жене, удобном кабинете и загранице сыпались у него в мозгу. Он курил папиросу за папиросой, он упрекал себя за то, что пришел играть в третий раз. Опыт его состоял в том, чтобы притти в клуб три раза и выиграть 50 тысяч. За два раза он выиграл их. Он не знал, нужно ли было приходить в третий раз. Он знал одно, что сейчас, сию минуту, нужно было встать и уйти, но не мог сделать этого. Бледный человек с удивленными глазами был весел и спокоен, в углу его тонких красных губ была ироническая ямка. Он спокойно придвигал выигранные деньги к себе. Вокруг него стояли

его друзья. То и дело он, против всех обычаев и примет игроков, давал им прямо из игры кучи бумажек и говорил: «Закажите внизу кабинет и ужин. На 10 человек. Позвоните Тамаре Дружининой. На шампанское. На автомобили. Это отдайте в буфет, долг... Эти 5 тысяч отдайте Иванову: я ему кажется, должен»...

В два часа все было кончено. Кранц встал. В глазах у него стоял свинец. В голове шумело. Пальцам было холодно. Он, как автомат, закрыл пустой бумажник и опустил его между хорошо разглаженными, твердыми углами тужурки. Лоб был красен, и на него налипли белокурые, потемневшие от пота, пряди.. Толпа расступилась. Кранц взял в рот папиросу, но спичек найти не мог. Перед его глазами, в тяжелых, свинцовых вращавшихся кругах, ничего не было, только в самой середине их горела красная точка. Стиснув в зубах папиросу, Зосин стоял перед Кранцем и злобно смотрел в его незрячие, синие глаза без зрачков и белков.

— Позвольте прикурить! — сказал студент, делая шаг к Зосину.

Потом, в проходе через буфет и дальше — по лестнице, Кранца мотало. В ушах стоял оглушительный колокольный звон, и красными буквами гремела фраза, сказанная чьим-то знакомым и незнакомым голосом:

— Вы держите папиросу не тем концом.

А в это время на темных и глухих окраинах рабочие уже смазывали салом пулеметы, набивали ленты, выкапывали ящики с винтовками, назначали начальников участков, и новый день, обозначавшийся светлой полосой за черными фабричными трубами, был последним днем Вавилона.

1919 г.

ЖЕЛЕЗНОЕ КОЛЬЦО

Тема романтики из повести «Отец»

Надоели доктору студенты, надоели пивные кружки, надоели песни, дуэли, тайные свиданья и голубые глаза красавиц. И отправился он с пуделем скитаться по свету.

По дорогам проходит вечным жидом, по морям — летучим Голландцем, по городам — знатным путешественником. Много повидал доктор диковинных стран, людей и городов.

Он танцевал на свадьбе в Барселоне, охотился в Индии на слонов, в Нагасаки увлекался гейшей, а в Риме написал отличную новеллу в духе Декамерона.

Год за годом, век за веком перед ним знакомые дороги, те же замки, горы, моря, острова и харчевни. Много это или мало — вечность? Для человеческой недолгой жизни это очень много; для сердца — слишком мало; но для души запроданной чорту год и вечность все равно — ничто.

Так и шел доктор, скучая, с дорожной палкой и котомкой. Только пудель путался у него под ногами, вертелся, клал лапы на грудь и пронзительно лаял, причем вытягивал из оскаленной пасти и разворачивал красный язык, похожий на детского свистящего змея или на жало геральдического льва.

Все что видел доктор, путешествуя: города, моря, горы, женщин, гостинницы — помнил все, потому что был безсмертен и был ко всему равнодушен по этой же причине.

Ничего не могло его развеселить.

Лишь однажды он улыбнулся.

Это случилось на диком Нисинском побережьи, в час прибоя, среди брызг, ракушек и скал, когда он встретился на самом берегу с неким мечтающим поэтом.

Поэт стоял, взволнованный, смуглый, рыже-курчавый в архалуке, размахивая отвинченным стволом охотничьего ружья, заменявшим ему, видимо, палку. Его, повернутое в брызги и ветер, лицо выражало высокое волненье и полные, голубые глаза, блестали слезами и вдохновеньем.

— «Тысячу сердечных извинений», — сказал доктор, снимая шляпу, на безукоризненном французском языке — «тысячу извинений, что не будучи вам представлен, я прервал ваше уединение и осмелился заговорить. Много лет, а может быть и веков скитаюсь я по свету, много видел я в своих скитаниях человеческих лиц, но такого вдохновенного, полного святения и блеска, как у вас, я не встречал нигде. Уж не вы ли обладатель легендарного талисмана счастья?»

— «Милостивый государь» — ответил поэт — я не имею чести знать кто вы и откуда; я не знаю до-

брый или злой гений привел вас к этим нищим берегам. Однако ваше лицо мне кажется трижды знакомым. Я не смею определить где я видел его: во сне или на яву. Но кто бы вы ни были — я приветствую вас. Вы сказали счастье? Кто из людей знает, что такое счастье! Иные думают, что счастье это золото, иные полагают его в молодости и любви; есть безумцы считающие счастьем безсмертие и славу! Но, милостивый государь, счастлив ли я? Ежели этот ветер и прибой, и свет и тень и говор волн — счастье, ежели одиночество и разлука — счастье, ежели паруса корабля, уходящего на юг по роскошной зелени моря — счастье, ежели природа человеческих чувств: горе, радость, разочарованья, слезы, сны, мысли — счастье, ежели все что окружает и наполняет бедную человеческую жизнь — счастье, о тогда я счастлив! Тогда я тысячу раз счастлив и благодарю небо за то несовершенное, горькое, прекрасное, обыкновенное человеческое счастье».

— «Первый раз я вижу счастливца, познавшего простую мудрость природы!» — Воскликнул доктор — «Но кто же вы, милостивый государь?»

— «Что в имени моем?»

— «Вы правы» — в раздумьи сказал доктор — не можете ли вы сказать где я сейчас нахожусь и нет ли здесь по близости трактира или гостинницы, где бы я мог переночевать?»

— «Вы находитесь в нескольких верстах от нового города Одессы. Подымитесь вверх по обрывам и вы увидите его, как на ладони. Там вы найдете ресторацию, где можно получить отличное вино и сносный ужин».

— «Прощайте, милостивый государь. Еще раз простите меня за то, что я осмелился потревожить вас».

Доктор позвал пуделя и отвесив поклон, сделал несколько шагов. Поэт смотрел ему вслед, тщетно стараясь припомнить это трижды знакомое, бородатое, умное лицо незнакомца.

Внезапно доктор остановился.

— «Милостивый государь» — со странным волненьем сказал он, возвращаясь к поэту. — «Вероятно мы с вами больше никогда не встретимся, но наше короткое свиданье было самым приятным из всех случавшихся со мною за много лет, и быть может и веков, ибо впервые я узнал счастливца. Не откажитесь принять в знак этой мимолетной встречи это грубое, но слишком любимое мною кольцо. Оно сделано из железа и его украшает дешевый кусочек бирюзы. Но на руке счастливца, оно приобретает чудесную силу делать окружающее — прекрасным и счастливым. Возьмите его. Прощайте».

И не успел поэт ответить, как доктор и пудель исчезли. А на пальце своем он увидел грубое железное кольцо с бирюзой.

И в тайной темноте ночи, наклонясь над тетрадью и чертя на полях женский, любимый профиль, поэт видел, как бирюза вделанная в грубое железо, наливалась необычайным голубым светом. Этот же голубой свет наполнял средиземной водою ночное, полукруглое окно. И золотые ножи свечей колебались легко и чисто, окруженные лазурным сиянием. Стихи написанные в эту ночь были прекрасны.

На следующий день очаровательная госпожа Ризнич, жена известного виноторговца и негоцианта уезжала с мужем на корабле в Испанию. Задолго до часа отплытия поэт в щегольском сюртуке и цилиндре ожидал красавицу на пристани. Дул сильный ветер. Море было неспокойное, полное пены, но пленительное. Турецкие фелюги скрипели у набережной, раскачивая, как метрономы (в разные стороны), мачты и снасти. Матросы разных национальностей играли на тумбах свернутых палаток в карты. Слуги грузили дорожные сундуки и чемоданы супругов Ризничь в шлюпки, которые должны были перевезти их на корабль, качавшийся на рейде. Вдруг показалась карета. Рядом с каретой скакал всадник. Карета остановилась. Дверца отворилась и маленькая ножка в сером шолковом чулке, выглянула из нея, ища подножки. Слуги бросились к карете и господа Ризничь, кокетливо подобрав юбки, выпрыгнула на песок. За нею вылез ее толстый муж. Всадник соскочил с лошади и, бросив поводья слугам, подошел к поэту.

— «Она уезжает, это ужасно» — сказал он.

— «Она уезжает» — автоматически повторил поэт. — «Она уезжает, она уезжает . . . Для берегов отчизны дальней, ты покидала край родной; в час незабвенный, в час печальный, я долго плакал над тобой» . . .

— «Счастливец! Ты любим!» — С горечью заметил первый.

— «Друг Туманский, не завидуй, сейчас она уплывет от нас и мы будем равны и не известно еще кому из нас будет тяжелее».

Госпожа Ризничь с мужем подошла к приятелям попрощаться.

— «О, коварство мужчин!» — воскликнула она слишком весело, увидав на пальце поэта новое кольцо. — «Я еще не успела сесть на корабль, а уже у вас на руке новый талисман. Как обманчивы друзья говорящие о своей преданности».

Господин Ризничь улыбнулся учтиво. И лишь беглый взгляд поэта, полный любви, счастья и горя, перехваченный таким же тайным и быстрым взглядом красавицы, остались горькой памятью этого учтивого, светского прощанья.

Приставив к глазу зрительную трубу, превозмогая слезы, поэт видел приближенный стеклами бриг. У борта, рядом с мужем стояла она и махала платочком; в глубине палубы, за ящиками и бочками, поэт увидел вчерашнего незнакомца с пуделем. Незнакомец смотрел на берег в зрительную трубу, словно отыскивал кого в толпе провожавших. Поэт взмахнул платком, Склонясь от бокового ветра, корабль косо уходил вдаль. Скоро он почти скрылся от глаз.

— «Пойдем, дружище. Она уже далеко. В кофейне старика Капитанки уже вероятно собрались шахматные игроки и томная Ифигения разносит на жестяном подносе маленькие чашечки бобового кофе и рахатлукум. Пойдем я тебе расскажу забавную историю об одном странствующем чудаке с наружностью Фауста, подарившем мне это железное кольцо с бирюзой. Утри слезы, пойдем».

И они пошли вверх по новой дороге, вырезанной в свежей глине обрыва.

Много поколений сменилось с тех пор на диком Нисинском берегу, в городе Одессе. Но небо над ним все того же влажного, голубого света и сливы на рынке в августе покрыты все той же изумительной бирюзовой пылью. Значит железное кольцо и до сей поры находится у кого нибудь из местных жителей. Почти никто никогда не видел этого кольца, да и вряд ли многие знают о его существовании. Может быть, уезжая на север, поэт надел его в память о мимолетном образе на смуглый палец Ифигении, может быть оно попало в шкатулку легендарной гречанки, некогда целовавшейся с лордом Байроном, долго переходило из рода в род и наконец было продано на базаре в 920 году. Говорят, что один статский советник из управления по делам печати, весьма сильный в истории отечественной литературы, в девяностых годах прошлого века видел, подобное кольцо на пальце незнакомого ему жуира считавшего сдачу у окошечка кассы под каменными арками муниципального театра. Он ясно запомнил значительную крылатку, широкие клетчатые панталоны, коричневые бакенбарды, очки и шапокляк. Газовые рожки трещали гибкими твердыми веерами пламени над сетчатой рамой с афишей, напечатанной шоколадным, грубым шрифтом. Статский советник бросился к господину, но ступил на апельсинную корку, поскользнулся и чуть не упал; а когда он оправился, господин в крылатке скрылся; только в захлопнувшейся зеркальной двери покачивались лазурные созвездия. Об этом происшествии была даже напечатана статейка в местном «Телеграфе» на чем дело, впрочем, и кончилось.

Искусства, процветали в городе, где скрывался талисман. Литературные школы сменяли одна другую. А город как и люди, менялся. Летом он был завален строительными матерьялами, балками, рельсами шашками, бочками портландского цемента, смолой и глиной. В порт прибывали все новые парусники, пакетботы, океанские пароходы. И однажды, моложавый человек в берете, в шотландском пледе с бедекером и пуделем, прошел из порта на вокзал, оглушенный шолковым шелестом ссыпаемого зерна пистолетными выстрелами железных балок, скрипом, звонками конок и ругательствами, ослепленный известью, солнцем и необычайной яркостью неба.

Еще чувствуя над шагами качание палубы, он шел по боковым улицам и переулкам в сладкой тени, винограда, акаций и жарких домов. На пороге греческой кофейни, где под грубым полосатым тентом, вторые помощники и купцы в сдвинутых фесках играли в шашки, стояла молодая гречанка. Она легко прислонилась к косяку нагретой двери и дремала, опустив ресницы. Косые, резкие тени акации двигались вверх и вниз по ея смуглой шее, чорной кружевной наколке и по скрещенным на груди узким пальцам.

— Воскликнул незнакомец.

Гречанка вздрогнула и открыла глаза.

— Ифигения, Ифигения!—Позвал из лавки мужской голос.

Девушка поправила наколку и быстро вошла внутрь. Незнакомец остановился, но пудель кинулся передними лапами ему на шею, заглянул розовы-

ми, злыми глазами в лицо и изогнув узкий красный язык пронзительно залаял. Играющие в шашки лениво обернулись. В дверях кофейни стоял усатый грек. Незнакомец переложил из одной руки в другую бедекер, вздохнул, и пошел неторопясь дальше, ища тени, мимо бакалейных лавок и киосков с содовой водой.

Да, друзья! Видите сами, небо так же счастливо, так же лазурно и чудесно. Значит железное кольцо доброго доктора осталось в городе. Оно счастливо избежало реквизиций, эвакуаций и иностранных налетов. Но мы, теперешние поэты, бродяги, бедняки, романтики, авантюристы — мы не будем его искать. К дьяволу оно никуда не сбежит от нас. Верно? Мы счастливы, молоды, бедны — значит над нами всегда будет влажная, высокая голубизна и сливы на рынках будут всегда покрыты бирюзовой пылью. Впрочем — к чорту бирюзовую пыль. Были бы только сливы. А украсть их не так то уж и трудно.

— Ты сегодня в ударе, старик! Хотя и не точен в исторических фактах.

— Граждане, — испуганно прошептал, появившийся в дверях хозяин. — Бога ради потише. Вы хотите, вероятно, что бы меня расстреляли. Вот и верь на слово порядочным людям. Допивайте вино и уходите, прошу вас.

— Успокойтесь, папаша. К чорту факты! Сейчас мы уберемся отсюда. Итак друзья, сегодня нам досталось на троих три бутылки отличного портвейну. В наши нищие дни это исключительный случай. Осталась еще одна бутылка. Подставляйте стаканы. Выпьем за доктора Фауста, Выпьем за южно русскую школу поэзии. Прощайте хозяин. Извините за шум. Вали ребята.

Резкий зеленый свет весенних сумерек и желтая полоса заката полоснули бритвой по пьяным глазам. В улице было пусто. Синий силуэт собора твердо и сумрачно стоял в заре. Пахло свежим морем. С грохотом запирались шторы. И в надвигавшейся ночи в прорезывающихся, как молочные зубы звездах, мимо нас проходил человек с пледом и пуделем.

— Ба! Ребята, а вот и доктор!

Человек с пуделем шарахнулся в сторону и почти бежал по пустынной улице, мимо нищих, разграбленных опечатанных магазинов.

— Эй! Кто там орет. замолчите ребята. Выпили на грошь, а скандалите на рубль. Ну ка, хором.

И все подхватили хором:

— Добрый путь! До новой встречи, доктор!

— Ну, друзья, делать нечего. Идемте в мою берлогу. У меня в светильнике есть еще часа на 3 бензину. А Стивенс прекрасный писатель.

Это было в третьем году республики.

Москва 1920 г.

МЕДЬ, КОТОРАЯ ТОРЖЕСТВОВАЛА.

Самоубийство — не в счет.
Б. Пастернак.

1

Я просил ее:

— Не уезжай.

Я говорил:

— Ты мне нужна каждую минуту, а видимся мы с тобой несколько часов в сутки. Сегодня совсем мало — полчаса. Мокрые пальцы серых детских перчаток; слабое пожатие руки; холодная твердая, хорошая щека; ласковое слово — и ваших нет. До завтра — до свидания.

На Никитской скрипит снег. Светящиеся часы похожи на восходящую полную луну. В темноте, по Москве развешаны белые, розовые, голубоватые яйца фонарей.

И под фонарем я закуриваю.

Спички задувает ветер. Игольчатый воздух танцует и покалывает ресницы. Мундштук папиросы, на минуту вынутый изо рта, твердеет и леденеет.

Сколько дней мы с ней знакомы. Кажется пять.

Пять затяжек папиросы. И между каждой затяжкой память о ней твердеет, леденеет и страшно по-

думать, что вдруг, завтра ее уже нельзя будет отогреть губами.

Сколько ночей я не спал? Кажется четыре. Я совсем болен. Несомненно это простуда и больше ничего. Кашель, жар, озноб. И простудился я на Патриарших Прудах, возле десятого дерева с краю, если считать от грелки, откуда выбегают косые конькобежцы. Меня продуло парадным ветром оркестра, этой медной отдышкой труб, тарелок и барабана. Это случилось вчера.

2

Нечаянно (уверяю вас) я попал на Патриаршие Пруды к десятому дереву, считая от грелки.

Собственно было время обеда. Но эта благородная традиция, к сожалению, не всегда выполнима, особенно, если в кармане пусто, а в ресторане не дают в долг.

Но это не важно.

Важно, что не было папирос.

Впрочем, и это не так уж важно.

Важно, что до 8-ми часов осталось ровно — 4. Четыре часа без еды, табаку и любви. Это — нечто ужасное!

От нечего делать я смотрел на лед, опираясь конечно, о десятое дерево с краю, если считать и т. д.

Вдруг сзади:

— А, поэт мечтает! Здравствуйте.

Вы знаете, что самое забавное на свете? Бешеный брат или жених в Киеве? Нет, дорогая тетя. Самое забавное на свете — это почтенный и все-

ми уважаемый издатель, прогуливающийся между 4—5 часами на Патриарших Прудах, вокруг катка.

Он до половины осыпан снегом. Он розов и смущен. Очевидно, он гуляет очень долго. Дома его ждет добродетельная жена, хорошие дети и славный суп, который стынет на кухне. Но он гуляет. Под мышкой у него нет портфеля. А это очень знаменательно. Он явно смущен.

— Дорогой издатель, и вы здесь. Без оттисков, без корректур, без портфеля, без синего карандаша? Уж не сочиняете ли Вы стихи? У Вас такой лирический вид.

Он слегка рассержен. Он об'ясняет: — портфель, корректуры, цензура, синий карандаш — это небольшой эпизод. Случайность и недоразумение. Сущность же его — лирика, сложные фонетические конструкции, стихотворная композиция. Он говорит:

Эти пруды мне напоминают лес. Это мне необходимо для новой поэмы.

Старой его поэмы я, впрочем, тоже не знаю.

— Да. Слышите, как звучит оркестр? Вы не находите, что медь плачет о погибшей молодости и счастьи. (Это говорю я).

— Вы так думаете? — Важно и строго отвечает он —: молодой человек, заметьте себе, что медь никогда не плачет. Медь — торжествует.

Я, рассеянно:

— Торжествует. Возможно.

И, в упор:

— Дайте двадцать. Я не обедал.

Он морщится. Неужели нехороший автор не может найти более подходящей обстановки для своей бестактной просьбы.

Он, ласково.

— Десять.

Я, твердо:

— Двадцать. . . Я бы попросил.

У него последняя надежда.

—Десять. У меня крупные.

— Разменяйте. Двадцать.

Он разводит пухлыми ручками: — негде.

Я оживаю.

— Глупости. Мальчик! Коробку лучших папирос. Сдачу с пятидесяти. Тридцать — господину, остальные мне. Есть?

Самая последняя надежда издателя — может быть не найдется сдачи. Нашлось. — И коробку спичек.

— Мерси (это издателю). При случае лирические стихи о любви, о катке и о Елене. В четверг. Великолепно, напишу.

— Так вы уверяете, что медь торжествует? Правильно. Она торжествует. Я с вами согласен.

Он, грустно:

— Пожалуй вы правы: она плачет.

— Как угодно. Вам на юго-восток? До свидания. Мне на северо-запад.

Он грустно удаляется. Домой? О, нет! Боязливо оглянувшись, он возвращается обратно. И медленно бредет в толпе зевак, любующихся фалангами конькобежцев, которые массовыми кренами в свист полосуют морозный круг. С грустью он констатиру-

ет, что медь действительно плачет и, плачет, именно о погибшей молодости и счастьи.

Пусть меня повесят, если у него не назначено здесь свиданье!

3

Ага, хорошие папиросы! Одна, две, три, пять. Курить на морозе вредно. Согласен. А целоваться на морозе не вредно. А два часа стоять у крыльца в крещенском кресчендо морозного треска и смотреть в чернильные глаза, это не вредно? А идти домой в растегнутом пальто — не вредно? Наконец, разорвать рукав о колючую проволоку возле десятого дерева с краю, если . . . Это не вредно?

Я совершенно болен.

От Никитских ворот к почтамту надо итти по Тверскому бульвару, по Тверской, через Кузнецкий. Это, если не самый короткий, то зато самый милый путь.

Какой же дьявол, завел меня на Патриаршие проклятые пруды в этот мертвый, ночной, московский час? Поют вторые петухи. Прохожу мимо десятого дерева с краю, мимо единственной в мире колючей проволоки.

Эй, кто там стоит, прислонясь к грудному стволу? Никто не смеет стоять возле этого дерева. Это дерево — мое. Возле него она сказала мне — люблю. За последние пять лет никто не говорил мне ночью, в снегу, возле колючей проволоки, у черного ствола дерева «люблю». Мне кричали «стой», меня расстреливали, раздевали, били рукояткой револьвера . . . Но люблю. . .

Или этой мой двойник? Он поворачивает ко мне лицо. Ба, да это издатель! Он очень грустен, Он шепчет:

— Медь не торжествует. Медь плачет о погибшей молодости. О, мои двадцать рублей. О, моя добродетельная жена и мои умные дети.

И слезы текут по его голубым щекам.

Он исчез. Он пропал без следа. Никого нет возле десятого дерева с краю.

4

Мне надо лечиться.

Против окон аптеки на площади Революции — та же игольчатая возня воздуха и зипун извозчика. Дверь раскалывается и со скрипом переворачивается. Сон. Свет. Полки. Прилавки. Склянки. Фаянс. Весы. Сонный аптекарь.

— Будьте любезны, гражданин, чего-нибудь от кашля. И еще эту коробочку лепешек. И еще бутылочку иоду. . . и ваты, будьте добры. Благодарю вас. Получите. А это помогает?

Благодарю вас. Поднять воротник? Спасибо. Взять извозчика? Чепуха. Я влюблен и пойду пешком.

Дверь раскалывается и со скрипом переворачивается, но зато карманы набиты противоядиями. Против окон, против синих и красных бутылей, против нестерпимых линз, полных разного огня — та же игольчатая возня воздуха и зипун извозчика. И ночная извозчичья московская формула:

— Я вас катаю?

— Нет, дорогая тетя. На этот раз вы меня не катаете.

Теперь пустяки: Столешников, Петровка, Кузнецкий, Мясницкая и Чистые Пруды. (Не Патриаршие, а Чистые, Чистые, Чистые).

Мыльников переулок. Над воротами знакомая, фосфорная цифра. В окне — голубой свет, значит сегодня нюхают кокаин. Я не буду нюхать. Мне надо лечиться от простуды и любви.

Вот: стопа бумаги, прекрасные чернила, портсигар, спичка, стакан воды, коробка лепешек, капли, вата, иод.

Жалкое противоядие.

Попробую. Кладу на язык конфекту Эйкалипто-ментол. Против кашля. Холод наполняет рот, грудь, сердце.

В соседней комнате две женщины читают «Двенадцать». Блока по французски. Милая Москва. Она еще любит революцию и помнит Блока. Но дверь моя заперта. Я тверд.

5

Эйкалипто-ментол. Смешная игра в спокойствие и холод.

Она — уезжает.

Она не может не уехать. Дома ее ждут. Ждут родные, ждут словари, ждет мальчик, обещавший застрелиться, если она не приедет. Но самое главное — у нее уже есть билет, этот твердый, картонный четыреугольник с дырочкой посередине. Он прострелен навылет, он обречен. Никакая сила не может сделать его недействительным.

В последний раз она сняла шубку с милым детским мехом на воротнике и обшлагах. В последний раз ее синие глаза отразились в моем холостом зеркале и сделали его смуглым. В последний раз она сидела у меня на коленях, в сереньком мохнатом свитре и в последний раз я целовал ее полное горло, закинув голову и видя закопченый потолок со штукатуркой, отщелканной октябрьскими пулями.

— Не уезжай, — говорил я, валя в ноги извозчика плед.

— Не уезжай, подумай. Я расскажу тебе о чудесных днях революции, нищеты и героизма. Я расскажу тебе о своем отце, который умер от голода в двадцатом году. Я расскажу тебе о том, как у меня в комнате варили самогон и о том, как жизнь сгорала в спиртовом пламени февральских снегов, доходивших до нижних стекол. Не уезжай. Мне нужна хорошая жена и добрый друг. Я устал. Не уезжай.

Но вьюга била в глаза. Ветер сек розгой щеки. Переулки, сталкиваясь, вырывались белыми вихрями и трамваи, эти ярко освещенные парикмахерские на колесах, вступали в перестрелку с батареями кино и автомобилей.

— Не отпускай меня, — говорила она, и снег налипал на ее ресницы. — Зачем ты отпускаешь меня? Что я буду без тебя делать?

Но вокзал уже грозил циферблатом, поезда уже кричали в метели и, бляхи носильщиков гремели номерами, как щиты героев. Билет был прострелен

навылет и никакая сила в мире не могла заставить его выжить.

— Зачем ты меня отпускаешь?, — спросила она на площадке вагона, когда уже дважды прозвонил колокол. — Увези меня отсюда к себе. Я не могу без тебя жить. Ты потеряешь меня.

Я молчал. Я знал, почему ее отпускаю. Мне нужна была любовь на всю жизнь. Или — к чорту! На меньшее я был не согласен. Весной она приедет и уже все время мы будем вместе. Проклятая жадность. Все или ничего. Мир или цепи. Я привык думать картонными законами плакатов и других законов не знал и не хотел знать. Я еще мерил жизнь железным аршином девятнадцатого года. А уже электрические витрины салон — вагона, под шумок стрелок, проскользили по моим слезам и красные фонари последнего вагона укачали на вышедших из ремонта рессорах последнее слово, сказанное ею.

6

Я не буду курить трубки, не буду пить вина с друзьями, не буду торопиться по Кузнецкому в девять часов вечера за котиковым саком золотоволосой красавицы.

Что же мне делать. Жизнь незаполнима.

Остается одно развлечение — ее брат.

Он гораздо старше меня, он писатель, у него хорошая жена и строгие взгляды на жизнь. Он не любит революции, не любит потрясений, не любит нищеты и героизма. Но у него — синие глаза. Правда, они только вечером синие или когда он сердится. Но они синие с чернильными зрачками. Этого достаточно для того, чтобы я приходил к нему вечером и садился на диван против зеленого абажура лампы, висящей над писательским, письменным столом.

— Иван Иванович. Я люблю вашу сестру.

Он подымает кверху ножницы, которыми вырезывает из газеты одобрительную о себе рецензию.

— Вы, конечно, шутите?

— Нет, я не шучу. Я ее люблю.

— Увольте меня, пожалуйста, от подобных разговоров. Я не люблю глупых шуток.

— Я люблю вашу сестру. Я не могу без нее жить.

Он, с некоторым любопытством:

— Нет, вы это серьезно?

— Серьезно.

— Да вы что, с ума сошли что ли?

— Да, сошел. Я люблю вашу сестру. Я на ней женюсь.

Электрический разряд. Грохот и смятение. Вырезка и ножницы падают на стол. Самовар начинает тонко петь. Синие глаза круглеют до отказа. Жестом благородного отца он хватается за голову и начинает бегать по комнате, садясь на встречные стулья.

— Что! Что-о? Что-о-о? Жениться? Вы? На моей сестре? Да вы что, в уме! Тася, дай ему воды. Дайте — ка я попробую ваш пульс, голубчик, вам, вероятно нездоровится!

Он немного успокаивается.

— Нет, это даже смешно. До того, глупо, что смешно.

— А почему бы и нет:

— Почему? Да вы, что — ребенок! Нет, вы это нарочно?

— Серьезно.

— Ах, серьезно! Так я вам скажу тоже серьезно. Вы это бросьте. Бросьте и бросьте. Ах я дурак. Как я допустил. Как я мог это допустить? Вот, не угодно — ли. . .

И он начинает опять бегать по комнате, садясь на все стулья. Он не может себе простить, этого рокового знакомства. Зачем он позвал меня к себе в сочельник. Ну да. Он один во всем и виноват. Вот здесь, в этом углу стояла елочка, вот тут — на диване сидела она, сестра, приехавшая на праздники в первый раз, в Москву. Вот там стоял и читал стихи. Затем опера. Гугеноты и скверный состав. Но кто ж мог предвидеть несчастье. Боже, боже. Вся вина в многочисленных глазах благородного семейства падает исключительно на него.

Он долго всматривается в меня и вдруг опять впадает в отчаяние.

— Что? Жениться? О, Господи! Вы? На ней? Что я наделал, что я наделал! Надеюсь, по крайней мере, что хоть она. .

— Она меня любит.

Он падает в кресло.

— У меня нет больше сестры! Делайте, как знаете!

Я даю ему успокоиться. Я, мягко:

— Иван Иванович. Но в чем же дело? Почему? Ради Бога об'ясните. Может быть вы подозреваете меня в каких-нибудь недостойных поступках и тайных пороках. Уверяю вас, что это недоразумение. Я честный и нравственный человек.

— Сохрани бог. Я уверен в ваших качествах, но говорю вам, как друг: бросьте. Ничего из этого не выйдет.

— Я люблю ее.

Он кисло и жиденько смеется.

— Вы опять свое? Да поймите же: вам нельзя на ней жениться.

— Почему же?

Он в бессильи машет руками. Он не понимает, как это я не могу постигнуть такой элементарной вещи. Он собирается с силами и начинает об'яснять. Ей нужно учиться, у нее университет, книги, профессора. У нее, наконец, жених. У жениха дом. Особняк. Она избалована. Я в ней ошибаюсь. Она пошутила. Наконец — родственники. Что скажут родственники? Она, и вдруг выходит замуж за поэта. За бедняка, за бродягу, за. . . за . . .! Он не находит слов. Это нечто чудовищное. Нет, нет! Этого не может быть! Этого не будет! Бросьте, бросьте и бросьте.

Он несколько раз начинает истерически хохотать, несколько раз умолкает и несколько раз ищет спичек, которые у него в руке.

И только серый, домашний глаз его жены внимательно и сочувственно смотрит на меня из-за самовара. Я же упрямо повторяю.

— Я люблю ее.

В сущности я говорю не ему. Я говорю так, чтобы меня услыхала она за тысячу верст. Кроме того, так забавно, когда он сердится; этот, в сущности, добрый человек и неплохой писатель.

7

Тогда он разражается великолепным фельетоном о долларе. Это его коронный номер.

— Молодой человек, молодой человек. (Это он мне. Совсем, как издатель о меди, которая торжествует). Ах, молодой человек. Знаете ли вы, что такое доллар?

— Нет, дорогая, тебя я не знаю. Что такое доллар? Я его никогда не видел.

— То-то. Доллар это, батенька, все. Я преклоняюсь перед долларом. Я влюблен в доллар. Пять долларов — один фунт стерлингов. Вот. Это единица измерения человеческого права на существование. вы знаете, как живут люди в Америке? Отель. Миллион этажей. Номера. В каждом номере — три крана. В одном — кипяток, в другом — вода ледяная, в третьем — комнатная. Возле каждой постели — ночной столик и на каждом столике. . . Ну, как вы думаете — что?

— Самоучитель танцев.

Он презрительно морщится. Когда говорят о его величестве долларе, моя шутка глупа, фельетонна и неуместна.

— Нет. На ночном столике, батенька, биб-ли-я. На каждом. Да-с. Заметьте себе — библия. Затем вас по лифту передают прямо на подземную станцию метрополитена и через пять минут вас в лифте

же подымают на другом конце города за пятьдесят верст, на 40-й этаж. Так, что вы даже никакого Нью-Иорка и не видите. Вот. Это, ба-тень-ка, называется доллар. О, я преклоняюсь перед ним.

И неожиданно.

— А вы? Что у вас есть? У вас есть лакей? Нет! У вас есть одеяло:

Я:

— Нет.

— Чем же вы укрываетесь?

— Пальто.

— Как же вы смеете жениться?

Дальше вопрос:

— Вы пьете утром кофе?

— Чай. Иногда.

— Дома?

— В трактире.

— Сколько у вас пар обуви?

— Одна.

— Какая?

— А вот — эта.

— Эта? Разве это обувь! Сколько у вас дюжин белья?

— Две рубахи и две пары кальсон. Солдатские.

Он сардонически смеется.

— Так вот, батенька. Я вам сейчас списочек составлю. А когда у вас все по списочку будет, тогда мы с вами поговорим о женитьбе. Но, конечно, не на моей сестре, это вы бросьте. А вообще. Где мой бювар?

Он хватает ручку и начинает быстро писать на узенькой бумажке рецепт моего права на любовь.

Он похож на доктора. Две дюжины белья. Три пары обуви (одна лаковая), одеяло, плед. Три костюма, собрание сочинений Мольера, дюжина мыла, замшевые перчатки, бритва, носки и т. д. и т. д. и библия.

Два года, минимум. Вот-с выполните этот списочек и тогда мы с вами поговорим.

Да, еще одна вещь. Он совсем и забыл. Золото, золото. Золотые десятки. Это самое главное. О, я преклоняюсь перед золотом. Купите себе, ну скажем, десять десяток. Тогда с вами можно будет поговорить даже... о сестре.

Он уверен, что это невыполнимо.

Бедняга. Он мечтает об Америке и долларе. Мысленно он делает замечания лакею во фраке и ездит в моторе. Мысленно он пользуется тремя сортами воды и читает на ночь библию. У него в кармане чековая книжка Лионского кредита и громадная утренняя газета с миллионным тиражем.

Но в действительности в комнате два стула, потолок немного протекает, жена спит на худой походной кровати, вентиляция испорчена, соседка слева торгует самогоном, а сосед справа играет на гармонике и не платит в жилищное товарищество за квартиру. Отопление работает плохо. Доходы маленькие.

Но этот романтик и мечтатель живет в чудесном мире доллара и комфорта.

Я беру списочек и аккуратно складываю в боковой карман.

— Хорошо. В двадцатом году я умирал от голоду в Харькове, в городском саду. На мне были парусиновые штаны и бязевая рубаха. Больше у меня ничего не было. Столовые по случаю праздников были закрыты на два дня. У меня звенело в ушах и темнело в глазах. Я не унывал. Я любил эту голодную и героическую пору военного коммунизма, любил устные газеты войны и митинги. Я верил в будущее. Вот список, я это сделаю. Посмотрим, кто из нас американец. У меня нет ничего, но у меня будет все.

— Вот. Это я понимаю. Это умно.

Конечно, он ни на грош не верит в меня. Посмотрим.

— Только не забудьте золото. Десять десяток.

8

Прежде всего система. Календарь на стену (посмотрим, кто у нас американец!). Сотня конвертов на стол. Марки под чернильный прибор. Папка рукописей зе пять лет — на пол. Маленькие рассказы — направо. Большие — налево. Стихи — в сторону. 6 — больших, 10 — маленьких и 30 — лирических стихов. Валюта.

Пиво к чорту. Оно мешает работать. Расписки, издатели, чеки. Прежде всего и после всего — деньги. Редакция и пачка хороших папирос. Фельетон должен быть блестящим — за это больше платят. Вечером письмо, ответ и двадцать минут нежности. Больше я не могу себе позволить. Потому работа. Глаза болят, спина ноет, стиль выше среднего, выдумка — слаба, сжатость — максимум, компановка — уверенная. Валюта.

Черточка, черточка, черточка... Башмаки, ко-

стюмы, белье, галстухи с грохотом вылетают из списка и перекрещенные, прожитые дни прыгают из клеток календаря, как люди из окон горящего дома. Шкала моего права на счастье растет по Фаренгейту.

Деньги и вещи. Вещи и рассказы. «Распишитесь в получении» и неразборчивый почерк на листиках арифметической бумаги: «У меня в комнате холодно и поставили железную печку. Зачем ты меня отпустил, я не могу без тебя жить!»

Три недели писем, денег, работы, вещей и жара.

У меня есть все. Мне не хватает золота. Но золото никогда не зарабатывают. Для этого есть казино.

Беленький шарик с сухим треском ринулся по краю деревянного бассейна по красным и черным цифрам, отскакивая от неожиданных шипов и стреляя в блеске никелевых ручек, скрещенных над вращающимся центром. У крупье бритый подбородок и насмешливые, наглые глаза. Все зеленое поле, разбитое на аллеи, клумбы, грядки и дорожки похоже на хорошо распланированный английский сад. Разноцветные фишки, лопаточки и деньги — детские игрушки. Бодлеровская старушка лихорадочно записывает в книжечку цифры и высчитывает оборочками губ формулу удачи. У меня ставка на «чет». Выпадает «чет». Удваиваю и ставлю на вторую дюжину. Выиграл. Трансверсаль. Выиграл. Долго везти не может и все в жизни имеец конец. Я это знаю. В последний раз. На цифру. Не помню на какую. Но золото у меня должно быть: десять десяток. Сегодня. Плещет бассейн рулетки и пощелки-

вает шарик. Стоп. Моя цифра выиграла. Этого достаточно. У меня в руках куча денег и фишек. До свидания, джентльмены. Бодлеровская старушка вбивает в меня глаза — гвозди, но касса охотно обменивает всю эту бумажную и костяную рухлядь на десять золотых, полновесных, блестящих монет. Производственная программа выполнена.

Иван Иванович в ужасе и в восторге, когда он видит мой новый костюм и лаковые башмаки, но золото приводит его в состояние бреда.

Он не находит слов.

— Да, да. Я вижу. Вы далеко пойдете.

— Не пойду, а поеду. До свидания.

Он убит. Он сверкает синими глазами.

Конечно, я поеду. Немедленно. Только сначала надо телеграмму. Извозчик, почтамт.

Расчет точен, но ответа нет. Учитываю небольшое опоздание. Ответа нет. Учитываю большое опоздание. Ответа нет. Учитываю ответ почтой, но его нет. Легкое опоздание — нет. Большое опоздание — нет.

«У меня в комнате холодно и поставили железную печь».

Побеждает тот, кто сжигает флот первым. Кстати, о печке.

Несколько щепок, два березовых полена, вчерашняя газета и календарь, который три недели медленно выгорал клетками окон и обугленных цифр, мгновенно заворачивается огненной стружкой и летит пепельной, невесомой бабочкой над раскаленными, полосатыми дровами к чорту.

Подождем еще. Два дня — ответа нет.

Хорошо.

— Алло. Это вы, Нэлли. Я хочу вас видеть. Где и когда.

Потом: розовое утро, голубой снег, дым, дворники, бьющие лед, легкая тошнота похмелья и черный кофе с лимоном. Но тяжесть золота в боковом кармане приводит в отчаяние.

«У меня в комнате холодно и поставили железную печку».

9

Все или ничего. Я еду.

В чемодан летят желтые башмаки, одеколон, белье, блокнот, туфли и последние журналы. Билет прострелен навылет. Метель и второй звонок. Сутки и шесть часов бездействия.

— Я ищу твой вагон. Тебе с вечерней почтой два письма.

Это — друг. Он привез письма на моторе.

— Спасибо.

Одно — розовое, другое узкое и серое. Оба от нее. Читать — бесполезно.

— Когде ты вернешься?

Мне не нужно даже вскрывать их.

— Через четыре дня.

Третий звонок и сутки валятся в тундру окон ледниковым периодом шишек и елок. «Я уже писала тебе, что у меня в комнате поставили железную печку. Завтра я пойду к своему профессору и попрошу, чтобы он, как следует, побранил за то, что месяц не была у него. Дорогой мальчик. Чудесная зимняя сказка окончилась. Работа, работа и работа... Не сердись на меня. Может быть, я уже не люблю тебя. Я ничего не знаю».

Зато я знаю все.

Сказавший: не знаю — сказал: не люблю. Раненого — пристрелили, колебание — смерть. Значит — это конец. Писать больше не о чем, но инерция продолжается и жить надо. Мысли должны быть приведены в систему. Хаос взрыва, перемешавший воздух с бессонницей и мысль со звуком в путанице громадного напора, стал пустотой. Пустота требует заполнения. И после взрыва, после стыка писем и станций, бронированного Брянска и бестолковых стрелок, после мыслей, стукающих буферами друг в друга, осталась одна, совершенно прозрачная, горьковатая капля в реснице. Она разломила глаз и страничку блокнота, где судорожно перечеркивались неподходящие слова, которые были еще недостаточно лживыми, чтобы сделаться формулой.

Итак, пальцы, нажимавшие на карандаш и затем затягивавшие ремни портпледа, вытянулись в нерешительности. Сутки ловко обернулись вокруг них и отбросив двадцать четыре тысячи совершенно ненужных деталей (среди них: глупые наименования станций, вокзал, извочик, номер в гостиннице, спички...) — коснулись звонка.

Быстрые шаги за дверью. «Кто там». Путаница «ты» и «вы», запах цветочного мыла и мускуса и все — чужое.

— Раздевайся. Когда ты приехал?

Запутавшиеся пальцы борятся с выключателем. Лампочка дает осечки. Серенький свитр, узел во-

лос, один поворот голоса, другой поворот, блестящий и очень близкий, полный глаз, поднятая рука, ноготь, горло, беглый поцелуй — десяток любительских фотографий на память при вспышках. Моментально и навсегда.

10

Так вот она, ее комната. Печка, которую недавно поставили, железная, низенькая и слишком простая. Но она страшнее баттареи.

— Ну, как вы живете? Рассказывайте. (Это я).

Быть спокойным труднее, чем набить трубку. Кроме того потерялись спички.

В окне стоит бесстрастный, скупой, киевский полдень.

Под окном аккуратный письменный стол. На словарях — пыль. Возле чернильницы — компас. Стрелки безвозмездно раз'ясняют приезжим: север и юг. Фраза «Вам на юго - восток. А мне на северо-запад». — , переменившись во времени и пространстве приняла материальные формы и компасом легла на стол. Ибо иначе не выходит и не выходит из мира. Все было, есть и будет.

Я рассматриваю ее при ровном, дневном свете. У нее немного плоское лицо каменной бабы, подбородок, выведенный ровным овалом, короткий, упрямый нос, полные серые глаза с чернильной синевой по середине и обиженные губы. Она хорошо сложена и ноги у нее маленькие. Волосы счесаны с затылка вверх и закручены взрослым узлом. А в общем вся она чудный недомерок, который так тяжело терять.

Она говорит о сбивчивом прошлом, которое не повторится:

— Я.

— Да, прошлого нет. Нет настоящего и нет будущего. Есть вечное и оно всегда. Но оно меняется. Вчера это шутка у десятого дерева на Патриарших Прудах о северо-востоке и юго-западе; сегодня — это компас на вашем столе с отклонением в 30° а завтра — это красные флаги на полюсах.

Север и юг — вечны.

Она подбрасывает в печку поленце.

Недаром я так боялся этой проклятой печки, о которой знал лишь из письма. Написавший: печка, написал: огонь, уничтожающий написанное. Вчера — это цитата, сегодня календарь, закручивающийся огненной стружкой в Москве, в Мельниковом переулке, в кирпичной грубой печке, а завтра — железная печка в Киеве.

— Кстати о печке. Вот ваши письма.

Их четыре, они всегда со мной. Два любимые, старые. Два — новые, в цветных отвратительных конвертах, лживые и колеблющиеся. Кроме того, случайная записка и вязаная перчатка с левой ее руки, которую я клал к себе под подушку, ложась спать.

— Возьмите свои игрушки и отдайте мне мои.

Она не глядя, вытягивает ящик стола.

Заслонка открывается, как затвор гаубицы и глотает пачки заряда, огонь гудит в колене трубы. Она опускает ресницы.

Ну вот и все.

— А теперь ты покажешь мне город. Ведь ты

знаешь толк в этих исторических вещах. Даты и стили — твоя стихия.

(Какая пустота).

— Мы поедем в пещеры.

У нее новая бархатная шапочка. Лучше чем та, которая была в Москве, но она чужая. Лошадь рвет с места в карьер, меховая полость привязывает нас друг к другу. Мелкая пороша налипает на ее ресницы, отчего лицо делается розовым и милым.

(Вот это уже лишнее!)

Начинаются достопримечательности.

— Вот дом, где живет мой жених.

— Этот? Хороший дом. Он мне не мешает.

— Золотые ворота. Они относятся . . .

Садик, горка и на ней развалины, перетянутые крестообразными скрепами. Золотые ворота, — это я уже когда то видел и слышал. Да, ведь я был в детстве в Киеве!

— К XIII или XIV веку. История их. . .

Тогда была жара, у меня шла из носу кровь и папа вез меня на пароход. Я держал в поднятой кверху руке ключ и голова у меня была задрана, но углом глаза я поймал эти крестообразные скрепы.

— История из названия до сих пор не выяснена. Одни утверждают. . .

И слова «золотые ворота», сказанные отцом, навсегда сочетались с засохшей под носом кровью, любопытством и соломенным зноем какого-то купола, скользнувшего по полям шляпы.

— Это церковь XV века. . .

Я, коротко:

— Взорвать!

Она смотрит на меня сбоку, сквозь порошу.

— Это музей, в котором. . .

— Все равно — взорвать!

Она улыбается.

— А что же не взорвать?

— Эту колючую проволоку в память «той» можно не взрывать. Этот сад, например можно не взрывать. Летом в нем хорошо продавать мороженное.

— А еще что, не взрывать?

— Еще на спине у извозчика, видите, шарик. Он висит на одной ниточке. Так близко. Его — пришить.

Лошадь кидает назад скрипучую дорогу и колокольни лавры выходят навстречу белыми, тихими монахами в ржавых скуфейках.

В пустоте и тишине монастырского двора по залежам снега, монах, похожий на обозного солдата в поддевке и сапогах, провел нас к ближним пещерам. И ту картину страшного суда, которая была написана на стене в сенях, у входа в пещеру против балконной двери, я тоже видел в детстве. В экземе и струпьях фресок трубили трубы, грубо написанных архангелов и свиные рыла чертей лезли из тьмы.

Две тоненькие свечечки, купленные ею, загорелись сусальными червячками, опускаясь в дыру, где воздух был тяжел и неподвижен.

11

Все равно ничего не выйдет. Вне Москвы у нас нет никаких отношений, вне Москвы нет России и нет любви. Она — расчетливая, скупая и трусливая

язычница. Она боится за себя и за меня, когда я, за спиной у монаха, трясу, завернутую в алую тряпку легкую голову подозрительного угодника. Она делает мне умоляющие глаза, в которых горят сусальные червячки. Потом она покупает просфорки и дает мне. При этом она ходит на цыпочках и говорит шопотом.

Между прочим — церкви Печерской лавры завалены тьмой и византийским, кудрявым золотом винограда. Шаги трещат, плевками по плитам, а мне не страшно и хочется обедать.

Из дома монастырских служб, два монаха выносят деревянную кровать. Их переселяют. Над дверью прибита вывеска красноармейской части и висит красный флаг. В стенах колоколен среди углов и архитектурных деталей, темнеют свеже оштукатуренные пробоины партизанских снарядов, обведенные красной краской. Это — единственная память гражданской войны и оконченной революции. Это напоминает общелканные октябрьскими пулями карнизы моей комнаты в Москве.

Тиха украинская ночь. Синь снег. Высок тополь возле белой колокольни собора. Кудряв и заносчив, припавший на окорока конь Богдана Хмельницкого, стрельнувшего в редкие звезды павлиньими перышками ямщицкой шапки — бездарная пародия на Фальконеттовского всадника. Хорошо начищен оперный месяц над площадью.

— Прощай. Я тебя не люблю.

— Прощай.

— Тебе на юго-запад — мне на северо-восток.

Снег скрипит под расходящимися шагами.

12

Меня ждет Москва. Я не люблю и не хочу знать твоей Византии: мне нужно бороться, а не молиться. Мои предки с верховья Волги; может быть, они были ушкуйниками. А я разночинец, у меня нет были и правил, нет семьи, нет ничего, кроме молодости, закаленной дочерна в пламени великого пятилетия. И я хочу быть американцем не меньше, чем Иван Иванович.

Так почему же я не могу заснуть? В номере тепло, пусто и темно. Где то бьют часы и каплет в ведро вода. Жар наполняет пульс короткими толчками. В пальцах и в ладонях двойное ощущение пуда и булавочной головки. Табак горек. Пустота незаполнима. И опять я припоминаю, что в детстве я лежал жаркой, летней ночью в номере монастырской гостинницы. В темноте висел комар. В ладонях боролся пуд с булавочной головкой. Где то пистолетной пружиной звонили часы и по корридору торопились шаги монахов. Папа давал мне пить кислый, монастырский квас, который пахнул кипарисом и олеографией. Мне было страшно. Кровать скрипела. Грубые, написанные трубы, страшного суда, глиняные ноги архангелов, свиные рыла чертей и черные грешники наполняли углы и лихорадка волокла по ресницам комариную паутину. Тогда я боялся бога и смерти.

Разве я знал тогда, что опять повторится в жизни, в Киеве, в темном номере — эта борьба пустоты, пуда и булавочной головки.

После бессонной ночи, после безжалостного вок-

зала, вагон-ресторан особенно удивителен и покоен. В нем великолепные, широкие вдоль, салонные стекла, за которыми бежит белизна зимы, сливающаяся с белоснежными скатертями столиков. Рессоры легкими трамплинами бьют в подошвы, но это не мешает читать Франса, у которого на все непонятные вещи есть мудрая улыбка. Подогретое красное вино туманит голову, белизна скатерти и снега становится резче и становятся понятнее фраки лакеев.

За завтраком у меня милый сосед, представитель какой-то американской фирмы. Он русский. Одет отлично, явно интеллигентен, энергичен. Мы едем с ним в одном купэ.

— Трудно себе представить, что это русская дорога, — говорит он, пошатываясь на стуле и наклоняя ко мне пробор. — Вы помните, что было? Сыпной тиф, разобранные пути, десять верст в час... Теплушки... Давка, мешочники, крушения — ужас.

— Да, да. Товарный вагон и в дверях человек в синих галифе с маузером.

— Что ни говорите, а Россия удивительная страна и русские удивительный народ. Я часто бываю заграницей. Нас там боятся, честное слово.

Еще бутылка красного вина и он рассказывает мне о своей жене, о своей несчастной жизни и о своей скрипке, на которой он не играет дома, а только в путешествиях.

Потом вечер, прибавляющий вина, жара и грусти.

Лампочка в купэ наполняется желтым светом. Сосед наигрывает под сурдинку нечто жалостное,

но мало убедительное. Жар прибывает. Вагон покачивает. Соседи укладываются спать. Пустота незаполнима. Пуд борется с булавочной головкой, сознание уходит, красное одеяло режет глаза, свеже отремонтированный вагон начинает пахнуть тем сложным запахом краски, клопов, железа и электричества, каким несколько лет тому назад пахнул вагон, в котором меня везли, больного сыпняком с бронепоезда в тыл. Вода, которую мне кто то с неразборчивым лицом подает в зеленой кружке, тепла и противна, как брюшной тиф. Силы иссякли и сутки поворачиваются вокруг меня колесом, на котором медленно зажигаются и медленно гаснут, вперемежку, окно и лампочка. Ночь. Поезд стоит. Кто то из другого мира говорит: «На мосту крушенье. Сейчас будем переходить в другой поезд через мост».

Значит без перебоя, без провала, спокойно — все таки в России нельзя.

Мои вещи забирают, я с трудом выхожу из вагона. Ночь, вьюга, снег. Много людей и все куда то идут с вещами. Холодно, страшно и хочется лечь спать в снег. На мосту горят костры. Они напоминают фронт, бронепоезд, солдат и нищие, счастливые дни военного коммунизма. Они также неповторимы, как неповторима любовь. А разве любовь повторима? Ничто не входит и не выходит из мира. Все было, есть и будет.

Завтра я буду в Москве. От прошлого у меня есть еще золотые монеты. С ними расправиться нетрудно. Ледяной фушер шампанского в Ампире и рысак в капоре, скалящий, как злая красавица вре-

мен Директории, острые зубы и косящий ревнивый глаз.

— К цыганам. Пади. А там мы посмотрим. Рысак рвет с места в карьер, морозная пыль окружает зипун возницы облаком игольчатой возни воздуха. Фонари рушатся. Пустота незаполнима.

Иван Иванович, не беспокойтесь, опасность пока миновала. Вашему семейству же угрожает разгром. Спите спокойно, мечтайте о долларе, а в свободное от этих занятий время американизируйтесь.

Кстати, у вас уже починили крышу?

Только, пожалуйста, не учите меня больше жить.

Отныне я буду жить сам.

Завтра я загляну к вам часиков в семь.

Мне хочется посмотреть в ваши синеватые глаза при вечернем освещении. Ваша сестра? Благодарю вас, она чувствует себя превосходно, много работает и выглядит свежо.

И еще хочется при встрече сообщить издателю, что медь в равной степени по очереди и торжествует и плачет о погибшей молодости. Как и все в мире, впрочем.

1923, зима Москва.

СИГАРЫ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА

Госпожа фон Волоцкая, вдова генерал майора, командира 52-ой артиллерийской бригады, скончавшагося от несварения желудка и огорчения во время отступления русской армии из Добруджа осенью 1916 года, вот уже в течение 4-х лет со дня великой революции, с усердием, достойным лучшего применения распродавала свое имущество. Это было для нея единственным выходом.

Озабоченная борьбой с внутренней контр-революцией и ликвидацией 4-х внешних фронтов, республика не обращала внимания на бедственное положение благородной вдовы. Напрасно госпожа фон Волоцкая обращалась в отдел социального обеспечения, в этом учреждении, призванном для обеспечения неимущих граждан, царил ужасный беспорядок. Не было ни швейцара, ни приемных часов, ни даже чиновника для особых поручений. Всеми делами заворачивал мрачного вида матрос, который с первых же слов начал называть госпожу фон Волоцкую — мамашей. У него были совершенно дикие взгляды на социальное обеспечение и разговаривать с ним не было никакой возможности. На-

прасно генеральша доказывала ему, что в сущности она самая настоящая демократка и что покойный муж ея генерал фон Волоцкий был самых либеральных убеждений; напрасно ссылалась она на бывшего деньщика Коцюгу и горничную Дашу. Ничего не помогало. Мрачный матрос зарядил одно:

— Вы еще можете работать мамаша. Мы для вас ничего не можем сделать. До свиданья мамаша.

— Но поймите, милый, — мягко возражала фон Волоцкая, в то время, как вся внутри содрагалась и клокотала от бешенства, — Но поймите же милый, что мой муж был защитником отечества. Он жертвовал жизнью. . . И кроме того, ведь я же женщина! А каждый мужчина должен быть по отношению к женщине рыцарем! — при этих словах генеральша подбирала губы сердечком и шаловливо грозила матросу пальчиком.

Матрос сконфуженно опускал глаза и упрямо повторял, крутя в руках химический карандаш:

— Мы ничего не можем сделать, мамаша. До свиданья мамаша.

Тогда госпожа фон Волоцкая раз на всегда прокляла отвратительную республику рабочих и крестьян и стала упрямо распродавать имущество надеясь на неизбежный переворот.

— Не сегодня, так завтра; не завтра, так после завтра. . . Но в конце концов они уйдут. Дальше так продолжатся не может. Удивляюсь, куда смотрит Европа! — говорила генеральша при встрече со знакомыми своего круга, которых осталось в городе очень немного.

Но Европа смотрела вероятно не туда, куда нужно было генеральше. Одна за другой рушились надежды. Рабоче-крестьянская республика все продолжала существовать и рабочие с портфелями продолжали раз'езжать на автомобилях, с видом полных хозяев страны. Госпоже фон Волоцкой все это было крайне противно, но она продолжала стойко распродаваться. Сначала была продана прекрасная библиотека на трех европейских языках. Потом картины и бронза; потом ковры. . . Еще недавно в квартире генеральши появлялись зоркие молодые люди в барашковых черных шапках, надвинутых на черные, блестящие глаза и начинался торг. Молодые люди кричали и размахивали руками. Уходили и снова приходили, стучали ногами и курили папиросы. У генеральши болела голова и хотелось, чтобы все это поскорее кончилось. Не вынося шума, она отдавала все вещи за четверть цены, морщилась, страдальчески взмахивала руками и говорила: — Ну берите, берите, только бога ради не галдите так. Мне все равно. Ах, мне все равно. Хоть бы «они» скорее ушли.

Молодые люди в барашковых шапках благодарили, отсчитывали разноцветныя бумажки самых разнообразных стилей, форматов и достоинств, забирали ящики, кипы книг, картины, ковры и исчезали. Квартира пустела, на зато госпожа фон Волоцкая каждое утро пила кофе, варила на примусе куриный бульон, пекла чудесные штучки из сдобного теста.

Но вот однажды наступил день, когда все крупные предметы были проданы и очередь пришла за

носильными вещами. Скрепя сердце генеральше пришлось отправляться на базар. Это был для нее ужасный день. Пыль, зной, ветер, шум, отвратительный запах пота, махорки и перегоревшаго сала. Плюшевая портьера была продана очень быстро и очень дешево. В этот день генеральша опять варила бульон и пекла пирожки, а через два дня денег уж не стало и нужно было нести на базар вторую портьеру. И настали для госпожи фон Волоцкой суровые базарные дни. Знойное летнее солнце жгло ее поблекшее лицо, тщательно припудренное дешевой лиловатой пудрой. Осенний дождь поливал ея облесший котиковый сак, пушистая, веселая вьюга осыпала ее щедрыми легкими снежками и лепила в припухшее с чернотою глаза и скверно выкрашенные брови. Вещи таяли с каждым днем, а генеральша все не унывала и плотно сжав тонкие злые губы шептала:

— Ничего, ничего, «они» скоро уйдут.

И вот наступил тот трагический конец, к которому так твердо и неуклонно шла упрямая генеральша. Была продана последняя рубашка. Продавать больше нечего. Нельзя же было снимать с себя юбку! Голодная, злая, с сухо блестевшими непричесанными волосами и грустным окурком, потухшим в углу давно некрашенного рта, сидела генеральша перед своим туалетным столиком, драпировка с которого тоже была уже давно продана. Она лихорадочно рылась в ящиках, перебирая черствыми длинными пальцами ту жестокую и не имеющую никакой ценности дрянь, которой всегда бывают набиты коробки и ящики женщин ея возраста. Пачки

порыжелых писем, перевязанные лиловыми ленточками и слабо пахнувших хорошими французскими духами, бархатные альбомы институтских стихов, рыжые глянцовые фотографические карточки, в овальных выпуклых рельефах которых были изображения поручика, капитана, полковника покойнаго фон Волоцкаго, то в бакенбардах, то в длинных усах, то бородатого. Распорядительские бантики, ветхия, истлевшия афишки оперных премьер, напечатанные старинным жирным шеколадным шрифтом и сальныя коробки из под конфет дышали на нее обаянием чего то сладкого и невозвратимого. Но среди этих дорогих вещей не было ценных. И в тот миг, когда отчаявшись найти что нибудь годное для продажи генеральша готова была расплакаться, ее пальцы нащупали в самой глубине ящика продолговатую деревянную коробку. Какое счастье. Да, конечно, это были сигары его превосходительства. Генеральша оторвала крышку. Солидные аристократические, одна в одну, густо и нежно пахнувшие усами покойнаго генерала, они говорили о чудесном, навеки утраченном мире комфортабельных кабинетов ампир, смуглых будуаров, хризантем и кофе, испаряющегося на столике, рядом с бисквитами и кэксом. На одну минуту генеральша замечталась, склонив голову над раскрытой коробкой и линяющая слеза капнула на сигару. Но это была только одна минута сентиментальности. А через полчаса, возбужденная мыслью о возможной еде, слегка умытая причесанная и припудренная остатками зубного порошка, в стоптанных старомодных башмаках, чопорная, госпожа фон Волоцкая,

презрительно поджав губы, ходила по базару, предлагая коробку сигар.

Хлестал горячий ветер. Пыль хрустела на зубах. Шумела толпа. Легкие сухие облака летели в пыльном словно полинявшем голубом небе. Трамваи, как смычки визжали по струнам многоголовой площади. Орали мальчишки. Кипятили самовары. На жаровнях трещала и шипела деревянная красная полированная колбаса. Над толпой плыли лиловые и красные арфы. Перекупщики рвали из рук портьеры и простыни. Крепкие вонючие мужики кушали чай без сахару. И сильно перченный борщ у крытых сосновых лотков со вздувшимися парусами тентов. Гомерические, громадные золотые хлебы, скрученные как утробные младенцы румяной пуповиной, тяжестью своей заставляли гнуться столы. Сахар блистал битым мрамором. Глиняные матросы в голладках таскали в табачный ряд мешки роскошного сухумского табаку, путанной, длинной крошки, пахнущего финиками, и никому не нужны были сигары покойного генерала.

Госпоже фон Волоцкой наступали на ноги, толкали, теснили. Но она только простительно улыбалась и повторяла беззвучным голосом.

— Не угодно ли сигар. Купите прекрасные гаванские сигары. Но никому не были нужны сигары покойного генерала.

Генеральша валилась с ног от голода и усталости.

Рынок кончался.

Уже милиционеры в красных платках, пронзительно свистя, опрокидывали лотки и пугали баб, теряющих в бегстве яблоки.

И вот, когда казалось, все было кончено, какой то совершенно обалделый от давки, шума и денег кочегар, удачно «спекульнувший» солью, купил сигары его превосходительства. Собственно говоря, они были ему совершенно не нужны. Но этот простодушный малый был уже в том состоянии покупательской горячки, когда ему было безразлично что купить: голубые, лайковые перчатки или персидский ковер. Он, весело подмигивая, сунул коробку сигар в карман мсляно-черного пиджака, отсчитал тридцать голубеньких, одна в одну, бумажек и бойко насвистывая скрылся.

— Закурим чтоб дома не журились! — сказал он, уходя.

Через десять минут в ближайшей паштетной генеральша жадно ела жирный борщ, набивая в рот мягкие куски теплого, белого хлеба.

Она говорила:

— Тарелки грязные! Борщ воняет. . . Чорт знает что. Дайте мне пирожок.

О будущем она не думала.

РЫЖИЕ КРЕСТИКИ

Жизнь Натальи Ивановны, начавшаяся (в воспоминаниях так чудесно) щелканьем крокетных шаров, зеркальной зеленью дикого винограда, щедро и ядовито отраженного в паркете и самоваре, жизнь полная мошкары, льнувшей к стеклянным колпакам дачных свечей и шиповника, благоухающего теплым вареньем, эта очаровательная жизнь, через сорок лет, стала сухой и невыносимой. Постаревшее, но не утратившее нежности, сердце, опустошенное войной и революцией, не могло примириться с бесконечными утратами и одиночеством. И, почувствовав, что в жизни уже больше ничего не случится ни хорошего, ни дурного, Наталья Ивановна поняла, что жить дальше нельзя. Тогда она решилась умереть и со спокойной аккуратностью стала готовиться к смерти. Она надела лучшее что у нея было: шерстяное платье, гладко зачесала сухие, легкие волосы, убралась, перебрала и сожгла в железной печке бумаги и оглядела свою чистую, скучную комнатку воспитательницы детского дома. Потом она высыпала порошок в рюмку и стала быстро размешивать искусанным кон-

чиком ручки, следя, как он, линяя, синит воду. Потом она зажмурилась, мелко закрестилась и, быстро открыв глаза, увидела у самого своего локтя, — письмо, выпавшее вероятно из бумаг, и не замеченное раньше. Это был узкий конверт серой английской бумаги, заклеенный синей институтской облаткой и надписанный рукою самой Натальи Ивановны, судя по крупному и неверному почерку, года двадцать три тому назад, когда ей было семнадцать. Письмо было адресовано тому студенту, соседу по именью, с которым она двадцать три года тому назад однажды, в майский дождь поцеловалась, и о котором уже ничего, не помнила, кроме того, что он ходил в шолковой, вышитой, малороссийской рубашке. С волнением необ'яснимого любопытства она коснулась этого, некогда написанного, но не отосланного, письма и быстро разорвала конверт шпилькой.

«Родной, ненаглядный мой!»

Прочитала она.

«Я до сих пор не могу придти в себя. Неужели же мы любили друг друга? Да, это так, дорогой! Никогда не забуду я той темной ночи с дождем, когда вы сказали мне «люблю». Кажется с той минуты прошло целых сто лет, а ведь на самом деле это было вчера, подумайте — в ч е р а. Ведь это вчера ночью дул ветер и пахла сирень и собирался дождь.

Это было только вчера, поймите. Я не ложилась спать, а волосы у меня еще мокрые от дождя, хоть выжми. Господи, как я счастлива! Нет, это даже написать нельзя. Такое счастье бывает только раз в

жизни, и больше никогда, никогда не может повториться такая ночь. Что будет потом? Я знаю — будущее может быть сильнее, ярче, но лучше, нежнее, выше оно быть не может. Это был взлет... Взлет, достигший высшего предела. Милый, поймите, этого никогда, никогда не повторится. Вы видели когда нибудь, как ребята кидают, кто выше, камни? Камень сначала стрелой несется вверх, потом лет становится все медленнее, медленнее и наконец камень достигает самой высокой точки... На мгновенье кажется, что он остановился... Но только на мгновенье... Потом он переворачивается и начинается падение. Сначала медленно, потом все быстрее, быстрее и наконец он, шурша и выдирая листья из деревьев, падает на траву или на крышу.. Милый, не сердитесь на меня. Я знаю, что я вам делаю больно, но так надо... Поймите — вчера наша любовь достигла своей самой высокой точки. Выше ей подняться уже нельзя. Я это чувствую и знаю. Вы помните, вы меня взяли за руку и наши губы.. Уже сверкали молнии и на голову падали первые капли дождя. Этой ночи уже больше никогда не повторится. Это был взлет на мгновенье мы остановились на этой самой высшей точке и это мгновение казалось вечностью. Потом — вы помните? — Хлынул ливень, мы бросились к дому и вы меня проводили до самого крыльца. Измокшая и счастливая я взошла к себе в комнату и не могла уснуть до утра. Милый» ...

На этом месте на строчки налипло несколько сухих рыжих крестиков сирени, вокруг которых темнели пятна и потеки чернил и воды! И эти несколько

сухих лепестков так живо напомнили Наталье Ивановне все. Она вспомнила беглый и прохладный поцелуй у крыльца и беглые, зеркальные молнии от которых повсюду зажигался сиреневый глянец. В прихожей ослепительно дрогнуло и сдвинулось от двойной вспышки окно и мокрый, раскрытый зонтик, оставленный кем то сушиться, упруго подпрыгнул, сдернутый с места подолом легкого Наташиного платья. В полной тьме она взошла к себе в комнату, протягивая, как слепая руки и ощупывая знакомые вещи. В комнате стоял очень сильный и горький миндальный запах сирени, смешанный с запахом дождя. Она протянула руку к столу и коснулась пальцами чего то мокрого, пышного и тяжелого. Оно мягко повалилось на стол, упал с легким звоном флакон духов и легкой, быстрой струйкой полилась со стола на пол вода. В эту же секунду зажглась молния и Наташа увидела опрокинутый букет сирени, разлитую воду и свое бледное, красивое, черноглазое лицо в зеркале. Потом она зажгла свечу, слабо озарившую тьму, золотым и синим острием и долго сидела перед зеркалом, выжимая смокшие, отяжелевшие косы.

Наталья Ивановна вздохнула, улыбнулась и стала читать дальше.

«... Милый, родной, я люблю вас. Люблю больше всего на свете. Во имя этой любви я умоляю вас, я требую от вас, чтобы вы уезжали отсюда как можно скорее, Я знаю, что вам будет больно, мне и самой больно, простите меня, милый, ненаглядный, но это необходимо. Мы не должны больше с вами встречаться. Ведь вы чуткий. Вы меня поймете.

Пусть наша любовь, взлетев на страшную высоту, останется там навсегда и никогда не падает вниз, на землю. Никогда, никогда!.. Я это твердо решила, а мне ведь это стоило многих слез и колебаний. Простите меня любимый. Сохраняйте меня в памяти такой, какой я была в эту чудесную ночь. Не ищите со мной встреч, мое решенье неизменно. Дай Бог вам счастья и радости в жизни. Я люблю вас, молюсь за вас и целую ваши глаза.

Простите Ваша Н.»

Серая английская бумага дрогнула в сухой и тонкой руке Натальи Ивановны. С удивительной ясностью вспомнила она себя впервые влюбленной, семнадцатилетней барышней, вспомнила щелканье крокетных шаров, мошкару над колпаками дачных свечей. Она вспомнила свой первый, девичий роман, начавшийся этим тургеневским письмом, так и оставшимся неотосланным; потом вспомнила свою любовь к мужу, смерть ребенка, расстрел брата, голод... Вся ее счастливая, трудная, изумительная, невыносимая и обыкновенная человеческая жизнь представилась ей щедрым, зеркальным отражением дикого винограда в стеклах и паркете, шумом ливня, запахом сирени и частые слезы закапали на порыжелые строчки этого неотосланного письма. И она поняла, что в жизни равны и счастье и горе и любовь и смерть. Что нет в жизни ни взлетов, ни падений. Она поняла, что умирать ей не надо. А слезы все капали и капали, расплываясь на черниле сиреневыми, бледными звездами, похожими на засохшие рыжие крестики цветов, кое где прильнувших к серой бумаге.

ПРАПОРЩИК

Прапорщик Чабан, малый двадцати трех лет, тихий и недалекий, с васильковыми глазами, темнорусыми волосами и белыми девичьими руками-типичный студент, в свое время, во время войны с немцами, был храбрым и выносливым солдатом. Под Минском он взрывал со своим взводом горны и получил жестокую контузию правой стороны тела. Под Барановичами его переехал зарядный ящик, в Одессе в госпитале, где он лечился, у него сделалась чесотка. За это все он имел два георгиевских креста, шашку с анненским темляком и надписью «за храбрость».

В девятнадцатом году он был мобилизован. Это случилось весной. У него не спросили, хочет ли он воевать и не спросили, сочувствует ли он добровольцам. Он должен был хотеть воевать и сочувствовать армейскому генералу с жандармской бородкой, портреты которого, перевитые георгиевскими лентами и украшенные скрещенными пушками, красовались всюду. Прапорщика только спросили на пункте, где он желает служить и, узнавши, что ему все равно, записали на бронепоезд и назначили те-

лефонистом. Сначала бронепоезд стоял в ремонте в железнодорожном депо, и прапорщик Чабан через два дня в третий был караульным начальником, охранявшего поезд, караула. Часовыми у него были недоучившиеся юнкера, малолетние кадеты и вольноопределяющиеся в длинных артиллерийских шинелях с красными погонами.

Подвешенные на громадных цепях к закопченному стеклянному потолку тысячепудовые бронированные вагоны, похожие на танки, смотрели в разные стороны открытыми черными люками, из которых, как из открытых ртов повешенных, торчали набрякшие языки пулеметов. Среди страшного железного грохота, совершенно оглушавшего непривычное ухо, в запахе раскаленного железа и в синем чаду каменного угля, плавали острые многоконечные звезды фонарей. Рабочие, оголенные по пояс, с телами, блестевшими от сала и копоти, как у негров, возились у горнов, у станков, бегали с громадными тяжелыми молотами, клепали, ругались, мочили воспаленные головы под краном и курили махорку. Каменные сердитые лица их, полные злобы и презрения мелькали в рассеянном свете фонарей и вселяли в сердце Чабана странную непонятную тревогу. После того, как командир бронепоезда, молодой полковник воздушного флота, джентльтмен с английским пробором, трубочкой и белым крестиком на синей гимнастерке, приказал усилить караулы и поставил в известность господ офицеров бронепоезда, что с рабочими нужно быть крайне осторожными и что подпольные коммунисты могут взорвать бронепоезд, прапорщику

Чабану стало еще страшнее обходить по ночам стоявших как игрушечные солдатики с винтовками часовых. С ремонтом бронепоезда страшно торопились и работали 24 часа в сутки в две смены. Ежедневно откуда-то привозили новые английские пулеметы, дальномеры и охладители. Постоянно к воротам мастерских под'езжал великолепный блестящий синий лимузин, и группы генералов в сопровождении английских лейтенантов и французских капитанов, громко и весело разговаривая на разных языках, осматривали работы.

Прапорщик Чабан не понимал, что делалось вокруг. Он не знал, почему рабочие хотят взорвать бронепоезд и почему начальство хочет, чтобы этот бронепоезд был поскорее готов. Он не знал, почему красные дерутся с белыми и почему вся Россия разделилась на две части — на большевиков и на небольшевиков. Правда, офицеры бронепоезда, с которыми помещался Чабан в вагоне, постоянно говорили о том, что до тех пор, пока коммунисты будут у власти, Россия не перестанет бедствовать. Но почему это должно было быть именно так — никто не об'яснял, и Чабан, который привык дома у себя в Умани к простым и не сложным разговорам о погоде, об университете и об охоте, был чужим в среде этих капитанов, поручиков и юнкеров.

В последнее время рабочих стали торопить еще больше и чаще стал наезжать автомобиль с генералами. Газеты писали о победах и о бегстве красных. Но в городе становилось все тревожнее, и уже были случаи, когда на окраинах убивали добровольческих офицеров. И вот однажды бронепоезд был

готов, поставлен на рельсы и составлен. В тот же день полковнику принесли предписание из штаба, после чего он сейчас же запретил отлучку в город. А через день уже вполне готовый и вооруженный, подцепленный к длинному воинскому эшелону, бронепоезд стоял у рампы, готовый и отходу. Офицеры, кадеты и юнкера грузили в вагоны пледы и хорошие чемоданы заплаканные дамы и изящные девицы окружали выкрашенные в защитный цвет стальные коробки бронепоезда. Часовые рисовались ружьями на башне, и командир первого орудия, с походной сумкой и биноклем через плечо, деловито бегал, наблюдая за проводкой телефонного провода. На рампе готовились служить молебен, и попы надевали ризы. Потом пели певчие, раздавали горящие свечи, шептались ад'ютанты генерала, приехавшего в лимузине. А после молебна командиру вручили новенькую блестящую икону Святого Николая, и генерал говорил речь. Говорил он о том, что красные враги сильны, что требуется напряжение всех военных сил для того, чтобы их сломить. Говорил он об Учредительном Собрании и о том, что именем Главнокомандующего всеми вооруженными силами юга, он приказывает пленных расстреливать на месте. При этом у него дрожали седые подусники.

Во время молебна Чабан крестился, во время речи генерала стоял на вытяжку, а после речи вместе с другими кричал «ура».

А перед самым отходом поезда, гуляя по полотну, он встретился со своим старым гимназическим

товарищем, фамилию которого забыл, но лицо которого хорошо помнил. Они поздоровались.

— Здорово, старик, — сказал Чабан, разглядывая легонькое пальтишко и небритое лицо приятеля. — Сколько лет, сколько зим, что ты здесь делаешь?

Приятель улыбнулся славной студенческой улыбкой.

— Работаю в железнодорожном госпитале. А ты что добровольцем заделался?

— Мобилизовали.

— Ага. Что ж, вы этим поездом думаете раздавить Советскую Россию? В Москве завтракать собираетесь, нет?

— Что у тебя за странный тон, ты что, коммунист?

— А ты контр-разведчик?

— Нет.

— Да, коммунист.

Приятели помолчали, а потом Чабан сказал:

— Вообще, все это очень странно. Вот, генерал только-что говорил речь, чтобы расстреливать пленных, и что коммунисты наши самые злые враги, а я с тобой вместе учился и мы вместе на казну ходили и вместе старые книги продавали. А ты теперь коммунист, а я доброволец и значит, я тебя должен убивать, а ты должен меня при первом удобном случае в Чека посадить. Ничего не понимаю. Об'ясни мне, пожалуйста.

Но приятель Чабана только усмехнулся и махнул рукой. А на прощанье сказал:

— Об'яснять тебе долго, а вот пойдешь в бой и

когда будешь из пушки стрелять, так хорошенько подумай, в кого стреляешь. Авось своих старых солдат человек восемь уцокаешь на месте.

И ушел. А Чабан возвратился на бронепоезд, где уже все было готово к отправлению. И до самого отхода рассматривал, недоумевая, румяных и воинственных мальчиков-вольноопределяющихся.

Эшелон гнали всю ночь. Ветер резал по крышам и в щели теплушек хлестал дождь. Лошади гремя подковами по доскам шарахались от блеска фонарей, стрелявших в глаза с полустанков. Начальник какого-то узла, задержавший поезд на три минуты, был рассрелян, и труп его был брошен в канаву. Никто не знал, по какой дороге гонят и почему так торопятся. Только в штабном вагоне, где толстые железнодорожные свечи в тяжелых медных подсвечниках прыгали по широкому ломберному столу, полковник в синей гимнастерке, положивший локти на расчерченную трехверстку и беспрерывно набивавший трубку, знал, в чем дело. Но лицо его было невозмутимо. Он быстро пробегал припухшими глазами телеграммы, которые ему подавал на каждой станции ад'ютант, покусывал кончик желтого карандаша и прихлебывал чай из мотающегося стакана.

Перед рассветом на каком-то полустанке пахла черная земля, похожая на кору дуба, пели жаворонки и зеленели озими. Бабы продавали в крынках молоко и девочки, замотанные как куклы, подымали к окнам вагона корзины с плациндами и пачки с махоркой, похожие на навоз. Потом поезд гнали

дальше, и к полудню, задыхаясь как загнанная лошадь, визжащий, гремящий, потный, красный, он влетел на станцию, где почему-то он долго стоял, и опять никто не знал, почему он долго стоит и когда он тронется дальше. На станции и вокруг станции было пустынно, страшно тихо, незаметно было ни шума и движения вагонов, ни маневрирования поездов. Команда подождала пять минут, потом десять, потом час. . . и постепенно стала расходиться по путям, по стрелкам, в железнодорожный поселок. Вокруг становилось все тише и тише, и полковник вышел из вагона и прошел в телеграфную контору, где долго просидел за телеграфным аппаратом, собственноручно что-то выстукивал и внимательно прочитывал ленту, длинной белой стружкой выползавшую из колеса. Потом он быстро встал и выйдя на перрон, гаркнул: «Прислуга, по местам» и велел отцепить бронепоезд от эшелона.

И только теперь все услышали те звуки, на которые никто раньше не обращал внимания и от которых вокруг было очень тихо. Это было легкое, звонкое и странное погромыхивание, похожее на удары пара, быстро вырывающегося из клапана. Через минуту поручик с биноклем кошкой карабкался на семафор, рвя перчатки и цепляясь шпорами за ступеньки лестницы. Потом произошел какой-то переполох, и капитан, командир поезда, вывел из железнодорожного поселка белого и черного машиниста. Он держал револьвер, направленный в его затылок и кричал: «дезертир, сволочь, расстрелять» и в следующую секунду спереди, оттуда, где слышались странные звуки, вылетело что-то не-

видимое, легкое и чуждое тому, что было вокруг, тело.

Обдало ветром, резнуло, свистнуло и прапорщик Чабан, надевавший штаны за полотном, видел, как из станционной крыши повалил черный дым и полетели щепки. За первой гранатой просвистала вторая и третья. Пехотинцы, приехавшие эшелоном, рассыпались в цепь. Лошади кавалеристов падали и ломали ноги. Казачий взвод, выехавший с правого фланга, был смят. Сотни людей, бегавших взад и вперед перед вагонами, под вагонами и за вагонами, кричали на разные голоса и на станции стоял пчелиный гул, но тех, которые наступали, видно еще не было, и от этого было еще страшнее.

— Телефонисты! Провод на пункт! Телефонисты! Прапорщик Чабан, чорт вас возьми, — кричал чей-то безумный голос. Но прапорщика Чабана, этого храброго офицера, видевшего смерть не один раз в глаза, охватил непонятный и неодолимый ужас. Бежать, бежать как можно скорей куда-нибудь подальше от боя. И он побежал. Ноги, не привыкшие к бегу, вязли в черной вспаханной земле. Свежий ветер свистал в ушах. Позади гремели разрывы и кричали поезда. А прапорщик Чабан бежал, напрягая все силы, и легкие готовы были лопнуть от воздуха, который напирал в раскрытый рот. Через десять минут он увидел себя одиноким в поле на бугре. Слева была станция с мелькающими игрушечными вагонами, движением, окутанная дымом. Справа лежало ровное, спокойное и светлое весеннее поле с голубыми кремлями облаков, птицами и солнцем. Редкие перелески светились лисьим мо-

хом. Ярко блистало дно разбитой бутылки. А впереди по шахматным доскам полей, как рассыпанные бусы, катились цепи наступавшей пехоты. Там были пушки, разбрасывавшие белые облачки дыма, казачьи раз'езды, мигавшие звездами на кончиках пик. Шальная пуля ударилась в землю у его ног и долго в его ушах стояло пчелиное пенье. А сзади два казака, привстав на стременах, кричали страшными голосами и махали прикладами. Тогда прапорщик Чабан вытащил револьвер, поднял левую руку и выстрелил в нее, в мякоть, повыше локтя. Выстрел обжег гимнастерку и рукав смок. Но боли он не почувствовал. Он бросил револьвер и побежал назад, прижимая раненую руку к боку и чувствуя рану так, как будто бы кто его ударил по мускулу железной палкой. Он бежал, но продолжал оставаться на месте в самом центре карусели, где все сильнее и сильнее начинали кружиться лошади, домики, облака и перелески.

Когда он очнулся, поезд метало, в глаза стреляли фонари полустанков, золотые шмели искр тучами неслись мимо вагона, ящики со шрапнелями стукались друг о друга и гремели, человек в белом халате с черными блестящими перчатками, еле держась на расставленных ногах, выжимал над лоханкой грязную тряпку, из которой текла бурая красноватая жидкость. Вокруг стонали люди. Их были десятки сотни. . . Их было очень много. Рука горела, ныло плечо, и казалось, что эта боль, жар, текли из сердца. И сердце от этого становилось все слабее и падало. Радужные стрекозы, треща стеклянными крыльями, наполняли темноту. И только

резкая желтая полоса заката, как бритва резала глаза.

Громадный красный солдат в зеленом крылатом шлеме с пятиугольной звездой пожимал руку рабочему в белом фартухе с молотом. Тяжелая цепь, разорванная пополам, лежала у их ног. Шафранное солнце вставало лучами — стрелами выглядывало из за них что то, чего никак нельзя было уразуметь, но только было похоже на написанное, на голос студента в легком пальто, идущего по рельсам от водокачки. Да и солдат смахивал на него молодым, грубо нарисованным лицом.

А может быть, впрочем это так казалось

И прапорщик Чабан никак не мог понять

Где он это видел: во сне ли, на станции или наяву. Но он уже знал, что именно э т о правда, это — настоящее.

Вокруг пахло эфиром. . .

X—921.

ЧЕЛОВЕК С УЗЛОМ

Я в последний раз затянулся и бросил папиросу. Окурок ударился об землю, вспыхнул и рассыпался красными искрами. С моря подул ветер и погнал по земле угольки. Потом они, один за другим погасли, и только последний, самый большой все еще продолжал бежать, подпрыгивая по кочкам. Но скоро погас и он. Судя по звездам, до смены оставалось еще часа два. Я был влюблен и спать мне не хотелось, но бессонная ночь утомляла, и мысли уже потеряли свою плавность, остроту и приходили в голову, странно путаясь, обрываясь и меняясь. Мне хотелось что-бы поскорее рассвело, кончилось дежурство и настал день. Мне поскорее хотелось увидеть ее. Моя любовь к ней была в том счастливом и лучшем периоде, когда уже не остается ни сомнений, ни колебаний, а только одна огромная нежность и томление. Мы еще не об'яснились, но я медлил, и мне доставляло какое-то тяжелое наслаждение молчать и видеть, что с каждым днем ея глаза становятся все темнее и нежнее. Я боялся сказать ей это простое и обыкновенное слово «люблю» не потому, что бы я сомневался в ней, и не потому,

что моя любовь была понятна и без этого слова, а потому, что настоящее было так удивительно- прекрасно в своей неопределенности, что становилось страшно одним словом нарушить его. Будущее могло быть сильнее, лучше, больше, но я знал и чувствовал, что нежнее и светлее настоящего — оно быть не могло. Поэтому я молчал.

Послышались шаги, и в воротах дачи, где я караулил сарай с гвоздями, за противоположным деревянным забором, на звездном небе показалась фигура. Это был часовой соседнего поста Крейди‹. Рядом с его головой и выше торчал большой, острый нож японской винтовки.

Он кашлянул.

— Что, уже три часа есть? — Спросил он.

— Не знаю. Должно-быть есть. Еще долго стоять. А что, надоело?

— Чего там надоело. Я так. . . Папироски не найдется?

Я сказал, что найдется, подошел через ворота и дорогу к забору и протянул коробку. Он выбрал папиросу, размял ее пальцами, вставил в усы и, сделав руки ковшиком, стал закуривать. Вспыхнувший огонек выхватил из темноты скуластое лицо, наморщенный лоб, клочковатые усы и черный деревенский картуз, надетый козырьком на ухо. Потом часовой потоптался на месте. Видно, ему было неловко уходить сейчас же после того, как он закурил мою папиросу.

— А у вас на посту все спокойно? — спросил я, — никто не копает?

Вечером под тот сарай, который он охранял, кто

то пытался подкопаться и подкопал довольно глубокий ход.

— Слава Богу — ничего, ответил он. — Это только одна глупость. Что он — там, вор, может узять? Ровным счетом ничего. Одно погнившее лазаретное белье и больше ничего. Да разве там ночью что нибудь заметишь? Все чисто повозками заставлено.

— Теперь и белье деньги стоит, сказал я.

Он махнул рукой.

— Какия деньги! — И отошел, унося с собою в темноту красную точку папиросы.

Я поправил на плече ремень тяжелой и большой винтовки, но все-таки было неудобно, давило на ключицу и затекла рука.

Крупныя осенния созвездия медленно и плавно передвигались. Пять огоньков Кассиопеи поднимались все выше и уже стояли над самой головой: Большая Медведица отходила вправо, опускалась и, поворачиваясь, почти клюнула своими тремя крайними и широко расставленными звездами в темную землю. Млечный Путь стал бледным, прозрачным и почти совсем невидимым. Юпитер поднялся высоко над морем и, подобно маленькой луне, отражался в воде серебристо молочным длинным столбом от горизонта до самого берега. Деревья и трава стояли, не шевелясь, черные и неподвижныя. Электрическая лампочка над воротами горела под крашеным, жестяным блюдечком красноватым, утомленным огнем. Стена дома, мотоциклет и земля, озаренная ею, казались какими то не настоящими, мертвыми.

Я опять стал думать.

Теперь я уже думал не о своей любви и не о счастии, а о себе и о ней, и она представлялась мне такой, какой я видел ее несколько дней тому назад. Она тогда сидела рядом со мной на кургане в степи, прямо против заходящего солнца за последней станцией дачного трамвая. На закате с моря по осеннему дул сильный, свежий ветер и ей было холодно. Она обхватила обнаженными до локтей руками колени, наклонилась вперед и смотрела прищуренными глазами, сквозь густыя, перепутанныя ресницы на солнце. Ветер трепал, как флаг, ея тонкую белую кофточку, фланелевую юбку, и шевелил завитками волос, падавших на затылок и уши из под ловко повязанного шелкового лилового с коричневыми треугольниками, платка. На ея загорелых руках совсем по детски росли и лоснились тонкие волосики. Очень низкое, розовое, но еще лучистое солнце ласково и нежно золотило их. Ветер, скользя, свистел в сухих, коричневых стеблях трав. Она сказала: «Смотрите, море, как плюшевое. Кажется, что если провести по нем пальцем против шерсти, останется такая полоска. Понимаете?» — «Понимаю» ответил я, рассеянно думая о другом. Потом она сняла с головы платок и закрыла мне им лицо. Платок заполоскало на ветру и сквозь его блестящий, сияющий шелк все было лилово и ярко: заходящее солнце, степь, пыль и игрушечный автомобиль, бегущий по шоссе. От платка очень тонко пахло чем-то хорошим и волнующим. Вероятно ея волосами. «Чудесно», — сказал я. Она отняла платок от моего лица, и у меня в глазах еще долго плавали синия пятна с коричневыми треугольниками, а когда закрывал глаза, начинали плавать коричневые пятна с синими треугольниками. . .

Мне опять захотелось поскорее ее увидеть.

Ветер подул острей и холодней, ночь дрогнула всеми своими созвездиями и стала меняться в утро. Тусклее горела лампочка над воротами, мертвее становилась стена, озаренная ею. Мелкия звезды таяли и оставались только самыя большия и яркия. Под Юпитером, над тем местом, откуда поднялся и он сам, показалась новая большая, холодная и ясная звезда; будто Юпитер вытащил ее за собою из моря на ниточке. От новой звезды в воде тоже встал молочно-серебристый столб. «Утренняя звезда» подумал я и, вдруг, мне захотелось спать. Ресницы отяжелели, сильно потянули вниз, по телу пробежала сладкая истома и мысли спутались. Я подошел к мотоциклету и присел возле него на землю. Делая усилия, чтобы не уснуть, я еще смутно видел, как над морем светлела полоса, как море становилось темным и синим, как деревья начинали трепетать зеленеющими ветвями.

Потом меня что-то сильно толкнуло и мне показалось, что через мой мозг быстро и коротко продернули несколько красных, звенящих шнурков. Я проснулся и услыхал отчаянные и тревожные свистки. «Должно быть у Крейдича на посту, что нибудь» — подумал я и, схватив винтовку на отвес, бросился в ворота. Уже было розово и светло, и пахло утренней пылью и росой. Кровь сильно прилила к рукам и голове, и ноги стали крепкими и бы-

стрыми. Я выбежал за ворота и посмотрел вдоль улицы налево, туда, где был пост Крейдича. Там кончались дачи и начинался пологий глинистый обрыв. Никого не было, но зато послышался топот сапог и громкий голос Крейдича:

— Стой! Стой!

Я побежал к обрыву на крик. Над обрывом показалась низкая, оборванная и смешная фигура человека с огромным узлом. Человек вдавил голову в плечи и набок, ухватил огромный узел руками сверху, перед собой, и бежал, что есть силы к спуску. За ним гнался Крейдич с винтовкой и кричал:

— Стой! Стой!

Человек с узлом добежал до обрыва и стал сбегать по спуску. Спуск шел шагов за 25 от меня, вор был так близко, что я ясно видел его напряженное, низколобое, грязное и тупое лицо выродка.

— Стой! закричал и я.

Он не повернул головы и продолжал бежать. Внезапно во мне что-то случилось. Кровь отлила от сердца к ногам, голова стала холодной, ледяной и я почувствовал, что бледнею от ненависти к этому, бегущему по заячьи человеку.

— А, сволочь! закричал я и вскинул винтовку. Неторопясь, что было хорошо, посадил на мушку бок бегущего и стал рассчитывать на сколько нужно взять вперед, что-бы не промахнуться. Какое-то новое, жгучее чувство толкало меня в сердце!» И я пьянел от этого чувства. Вор еще приблизился. «Готово», — подумал я, покрепче прижал ложе к плечу, надавил головой на него, чтобы выдержать

сильный толчек, который должен был в следующий миг произойти от выстрела. Не спуская глаз с мушки, и двигая винтовку так, чтобы бегущий человек не соскочил с нея, я спустил курок. Затвор тупо, металлически щелкнул, и в ту же секунду я вспомнил, что забыл, идя на пост, зарядить ружье. И когда я отнимал его от плеча, вор должно быть заметил меня, хотел повернуть, споткнулся и покатился вместе с узлом по земле. Я и Крейдич с двух сторон подбежали к нему и насели.

Потом на наши свистки сбежались караульные. Я помню, как вору скрутили за спину руки и как Крейдич ударил его два раза кулаком по скуластому землистому лицу и сказал:

— Ишь, сукин сын! Ты будешь красть, а мы за тебя отвечай! Застрелить тебя надо, как собаку, вот что!

Я смотрел на его низкую, оборванную фигуру, босыя, переминающияся ноги с черными ногтями, на сморщенный лоб, сузившиеся от страха глаза, на лиловые от холода губы и мне было как-то странно и не по себе. И вдруг я ясно представил себе, что было бы, если бы, идя на пост, я зарядил винтовку. Я бы наверное его убил. Он бы, должно быть, тогда лежал ничком возле этого грязного узла с бельем, на затылке у него была-бы маленькая черная дырочка и на земле стояла лужа крови. Руки и ноги постепенно бы бледнели, синели и становились холодными, твердыми... Как у того солдата, который был убит на моих глазах в бою 11 июля 1917 г., в Румынии под высотой 1001.

Солнце уже успело подняться, и море под ним горело розовым серебром. Сараи, сады, дачи — были теплого телесного цвета, а на земле лежали длинные, влажные и холодные тени. Я дрожал и не знал от чего я дрожу: от холода или от чего другого.

ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ

Рассказ *).

Пшевецкий снял пронзительным пальцем ферьзя и трижды подняв и опустив скупые желтые глаза от доски к лицу противника, неторопливо понес фигуру к правому углу. Синеватый шолковый дымок папиросы быстро закрутился над повисшей рукой и растаял, слизанный ветерком, листавшим на подоконнике книжку.

В раскрытом окне кабинета колебался кисельный запах лип, дружно и сильно цветущих в этот ранний час по всем бульварам Москвы. Индусские чалмы Василия блаженного, дикие и полосатые, тонко высмугленные зарей, хорошо стояли на розовом небе. Голоса петухов плавились в наплывавшем благовесте.

Партнер Пшевецкого, Бобров, курил, подперев небольшим, прочным кулаком ореховую с подкожной зеленью щеку. Он смотрел мимо царской бороденки Пшевецкого на прекрасные фрески итальянской стены, где висел карабин и отсвечивала сусальная надпись, намалеванная грубой кистью:

*) Из эпохи гражданской войны и борьбы с контр-революцией.

«смерть-революции». Красные и тонкие (в линейку) губы были сжаты. Пальцами левой руки он постукивал по краю роскошного письменного стола. Пшевецкий еще раз мелькнул глазами по прекрасному лицу Боброва и стал медленно приближать фигуру к доске, расчетливо затягивая движения и проверяя ход. Наконец, решившись, он осторожно опустил ферзь на доску и аккуратно, печаткой, придавил к месту.

— Так-с, сказал он, любуясь ходом. — Теперь на ты!

Бобров небрежно взглянул на игру и сейчас же, не меняя позу, пошел пешком, потом сдвинул брови над прямым носом, тряхнул головой и смешал фигуры.

— Сдаюсь. Ты меня замучил!

— Так то, брат; я то предвидел, когда ты сдавал коня. Нельзя же так играть, милый.

— Риск благородное дело. Моя специальность.. Да. Ты у нас удалец. Только не в шахматах — проворчал довольно Пшевецкий — только не в шахматах.

Он встал, хрустнул пальцами и прошелся, разминаясь и зевая, по комнате. Бобров взял трубку полевого телефона.

— Комендатура. Машину.

— Да, сказал Пшевецкий, останавливаясь перед ним: так-то. Надо играть серьезнее. Впрочем трудно быть хорошим шахматистом в двадцать три года. Тебе ведь двадцать три?

— Ничего подобного, двадцать девять. Неужели на вид. . .

— Ну да, говори!

— Уверяю тебя.

— Не верю.

— Уверяю тебя, посмотри паспорт.

— Липа!

— Разговаривай! Настоящий дворянин. Можешь взглянуть. Я ведь дворянин ха-ха!

Бобров вынул из портфеля паспорт. На улице внизу провыла сирена мотора и стекла тонко дрогнули.

— Любопытно взглянуть, сказал Пшевецкий, раскрывая паспорт. — Да, ты прав: черным по белому. «Паспортная книжка № 85, выданная потомственному дворянину Николаю Николаевичу Боброву». Так. . . «Родился 7 марта 1889 г.» Правильно. Странно, ты выглядишь, значительно моложе. Да. — В таком возрасте милый, надо играть умнее.

Он положил паспорт на стол.

— Ты куда?

— В двенадцатый, там скверно пахнет.

— Вали, вали. Вечером партия?

— Есть. Если что — звони в двенадцатый.

Бобров подошел к двери.

— Да, вот еще что, сказал Пшевецкий, аккуратно укладывая фигуры в ящичек и подымая бровь над припухшим, скупым глазом.

— Вот еще что. Там, только что окончили в подвале одиночки, пойдешь вниз — взгляни.

— Ладно, посмотрю.

Бобров вышел. И, как только он вышел, Пшевецкий стал неузнаваем: глаза его выцвели до белизны, тощая шея натужилась железными жилами и

резкие желваки заиграли на угодничьих скулах. Он торопливо ухватил телефонную трубку и худым, с чернильной вдавлиной пальцем дважды надавил пуговку и дважды, гнусаво, где то в ящике, пропел петушок. Он вызывал коменданта.

А в это время Бобров сбежал по лестнице вниз, в комендатуру, останавливаясь на площадках, чтобы натянуть щегольской хромовый сапог на коленку или выпростать синюю рубаху, смявшуюся под ременным кушаком.

Комендант положил трубку.

Одиночки готовы? Я хочу посмотреть, сказал Бобров.

Комендант надел фуражку, часовой стукнул прикладом и они пошли. В полном безмолвии они проходили через гулкие кухни, опускались по ржавым лестницам, где каждый этаж желтел утомленной лампочкой; они осторожно обходили темные лужи нефти, радужной кровью стоявшие на черной земле задних дворов, среди железных бочек и ящиков. Они опустились по холодным ступеням и вошли в мокрый мрак корридора.

— Здесь дьявольски холодно, — очень громко сказал Бобров, передергиваясь и входя в первую одиночку. Никто не ответил, но вместо ответа, дверь за ним сильно захлопнулась и дважды щелкнул замок

— Эй, что за глупые шутки! крикнул Бобров.

Никто не ответил.

— Чорт возьми, отоприте!

За дверью стукнул приклад. Бобров изо всех сил ударил кулаком в доску. Беглым блеском фотографического затвора блеснул глазок волка и у самого своего носа Бобров увидел оскалившуюся тупую физиономию.

— Я тебе приказываю отопри! Ты знаешь кто я такой!

Глаз волчка померк. Бобров схватился за парабеллум, но сейчас же вспомнил, что оставил его в кабинете друга. «Что это значит?» — подумал он и у него закружилась голова.

Громадная, непоправимая беда переделила жизнь пополам, захлопнувшись толстой дверью. По один бок ее, этой двери, кружилась безвыходным волчком и гудела темнота и тишина, а по другой бок был мир и солнце. — Там площадь поворачивалась под шинами моторов, увлекая каруселью зеленых лошадей над латинским портиком большого театра. Там цвели по бульварам липы. И девушки, всегда провожавшие его глазами, полными сладкого ужаса и восторга, так же (и без него) лущили семячки, прикрывая ладонями розовые ротики. Он всегда нравился женщинам, этот широкоплечий, отлично сложенный человек с синими мозаичными глазами и полированным пеналом маузера, так изящно и спокойно подскакивающий на твердых подушках великокняжеского мотора. Он был страшен налетчикам, хорошо знавшим деревянную прочность его небольшого кулака и прапорщикам, не выдерживающих на допросах его самого взгляда. А здесь? Что же это такое? (думал он) куря и бросая, обхаживая камеру в три путанных шага, поворачиваясь, выгибаясь и мучаясь. Он знал, что это могло быть доносом, ошибкой, наконец. . . шут-

кой. Но это должно было распутаться. Немедленно, сию минуту... сию секунду... Дальше это продолжаться не могло... Но это продолжалось и время, оставаясь неподвижным, неслось, свистя и захлебываясь локомотивом. И ужасней всего и унизительней было неведение, то неведение, которое знает все, но не желает знать, а потому не знает, все помнит до самых тайных глубин, но глушит память и мчится, захлебываясь во тьме.

Сколько времени прошло, он не знал. День ли миг ли? — Щелкал фотографический затвор волчка, смотрел пронзительный глаз.

Звучали грубые башмаки по корридору. Он пытался уснуть. Он ложился, не боясь испачкаться, на каменный пол, подкладывал под голову локоть и сейчас же ему чудилось, что его куда то несет к чорту, раскачивая и поворачивая на весу. И только раз, он измученный, забылся. Тогда заскрипело во тьме еловое колесо, заныла туго захлестнутая кисть руки, вытянутая накручивающимся канатом, захрустели ребра и истощенное угодничье лицо с царской бороденкой в иноческой скуфье заглянуло в глаза курячими, мясными глазами. «Чтож ты молчишь соколик?» сказал ласковый, ужасный голос и вдруг разорвалась бомба, спицами полетели лаковые клочья горной губернаторской кареты, лошади, издыхая, забились в перепутанной упряжи и человек, бросивший бомбу, побежал в переулок, вдавливая голову в плечи и мотаясь на бегу...

Бобров вскочил. Гремя прикладами и ключами, пришедшие отпирали одиночку. В корридоре горела лампочка темным желтком слабого накала. И увидав себя окруженным многими вооруженными, Бобров понял, что это — конец. Его повели. Он знал, что уже ничего не могло помочь. Он уже видел себя, введенным в пустой автомобильный сарай, где одна стена истыкана черной оспой и точно осязал на затылке то место, куда должна ударить первая пуля, отяжелевшая кровь налила дубовые ноги и легкая, громадная пустота звенела и реяла вверху. Его вывели из подвала во двор, в ночь, где ноги бессильно скользили по горной земле, напитанной нефтью. А вверху, в пролете двух многоэтажных, океанских корпусов, в сладкой синеве висело созвездие.

Однако он ошибся. Минуя автомобильный сарай, его повели по хорошо знакомой лестнице вверх. Тогда он понял, что еще не конец, что еще можно будет говорить. И переступая порог кабинета Пшевецкого, он зашатался он шума, хлынувшего в голову, и от крови, переполнившей сердце. В глазах посинело, затем ослепительно все зажглось и страшно захотелось есть.

Пшевецкий неподвижно сидел за столом, опустив глаза в бумаги, Старомодное пенснэ в роговой оправе, черезчур резко чернело на его бескровном, измученном, постаревшем лице.

— Что такое? В чем дело? спросил Бобров с напряженным весельем.

Пшевецкий дружески и мучительно улыбнулся.

— Чепуха, сказал он дергая плечом и подал руку. Садись. Поговорим. — Бобров сел к маленькому столику меж окон. Раньше этого столика здесь не было.

— Допрос?
— Небольшой.
— В чем дело?

Пшевецкий, не глядя на Боброва, подал ему две бумаги. Бобров взял. Одна новая, с голубым штампом, на машинке:

«Оттуда. Пшевецкому. В. Секретно.

При сем препровождаем на ваше распоряжение документ гр. Зельцмана, секретного агента Н-го охранного отделения с пометкой начальника отделения о выдаче по оному паспорта на имя дворянина Николая Николаевича Боброва за № 85».

Легкая испарина, тонким холодом тронула виски Боброва. В правом верхнем углу бумажки, поперек, красными черн лами была бисерная пометка: «Гр. Зельцман, провокатор, активный член партии с.-р. выдал Н-ому охр. отд. участников покушения на Л-го губернатора. По сведениям находится на службе во вверенном вам учреждении».

Другая — большой, вытертый на сгибах, ветхий годовой мещанский паспорт на имя Зельцмана с размашистой синей резолюцией через всю бумагу: «выдать дворянский паспорт на имя Николая Николаевича Боброва».

— Расстрел? — коротко спросил Бобров.

Он не отпирался, не старался вывернуться. Он видел, что дело совершенно и детально разработано и ничего, все равно, не поможешь.

— Глупости, сказал Пшевецкий. — Старая история. Кто из нас без греха. Нам хорошие работники нужны. Дело прошлое. Отстоим.

Бобров слабо улыбнулся:

— Писать?

Пшевецкий ставил вопросы тонко и мягко. Бобров отвечал просто. Разговор имел вид дружеского и серьезного. Затем Бобров подвинул к себе бумагу и стал писать. Пшевецкий охаживал его, заглядывая то через одно, то через другое плечо в показание, и поправляя пенснэ, делал короткие, неважные поправки, толкая в бумагу толстым пальцем с чернильной вдавлиной. Бобров быстро и красиво писал, стараясь как можно скорее кончить и не делать помарок.

— И вообще, ты не беспокойся, обойдется, яйца выеденного не стоит, — бормотал поспешно между тем Пшевецкий, теребя свою царскую бороденку и подымая бровь над скупым, мясным от бессонной ночи глазом. Лицо его сводило от невероятного и сдерживаемого страдания. — Пиши, пиши...

Когда Бобров кончил писать уже был рассвет. Пели петухи, пахли липы и окно было налито зеленоватой, свежей водой зари.

— Подписывай, сказал, торопясь, Пшевецкий — и сыграем партию.

Он захватил со стола пресспапье и осторожно промокнул подпись, словно как печать. И, промокая, он навалился на спину Боброва и потрепал по плечу, дыша в ухо теплым густо пахнущим дыханием.

Затем лицо его стало железным. Он ловко, как во сне, вытянул показанье из под пальцев Боброва, другой рукой быстро убрал со столика оставшуюся бумагу, ручку чернильницу и, твердо посмотрев на конвоира, стоявшего у двери, стал возиться, ус-

танавливая шахматную партию. Бобров мечтательно курил, устало смотря на приливавший рассвет и зевал.

Стоявший у двери сделал два шага вперед и выстрелил Боброву в затылок.

Пшевецкий быстро повернулся плечом, с силой закрыл глаза, будто стреляли в него, будто он желал пропустить мимо себя брызги мозга и крови, и подошел к телефону. Из прокушенной нижней губы его выступила капелька крови. Пороховой дым тонкими ниточками вытягивался в окно, смешиваясь с кисельным запахом лип. И трижды, в ящичке телефона, в глубине, пропел петушок.

Пшевецкий вызвал коменданта.

IWAN STEPANTCH

Ежевечерно в толпе, штурмующей ворота, можно было видеть неизвестного человека, прижатого спиной к желтому плакату, изображавшему роскошных атлетов в перчатках, похожих на головы мопсов.

Четыре гигантских экрана обслуживали северный, южный, восточный и западный секторы города. Через каждые пять минут они сообщали имена победителей и результаты фантастических пари.

Восемнадцать аэропланов летало над бронированным куполом цирка, сбрасывая на цилиндры опоздавших — груды летучек с правилами бокса и списками фаворитов.

Две тысячи американцев и столько же американок, не считая негров и детей, ежевечерно заполняли громадную кубатуру спортинг-паласа.

Неизвестный явно выделялся в громадной толпе совершенно одинаковых ротланов и, джимперсов. На нем было рыжее пальто с поднятым воротником, толстый красный шарф, старые свиные краги и кожаная фуражка. Уже это одно могло обратить на него всеобщее внимание. Однако, лицо его было

еще необкновеннее. Рыжая бороденка. Очень большие и резкие скулы, при общей худобе лица. Веснушки на носу и сильный кадык. Но самое необыкновенное — узкие, ядовитые, монгольские глаза. Они были желты и они оглядывали экраны и цилиндры с такой исключительной иронией, которой не могло быть у человека, не имеющего на нее права.

Билеты на мачти стоили баснословные деньги. Самые дешевые 10 долларов, самые дорогие. . .

Откуда этот человек взялся, чем занимается и где ночует — было неизвестно. Может быть об этом знал полисмэн 794 участка, совершающий ночной обход в туманном районе доков «Реджинальд Симпль» или хозяин подозрительного бара, где неизвестный пил в безнадежный кредит сода — виски, внимательно изучая русско-английский словарь.

Однако, поглощенные боксом рогланы и джимпер'сы батальонами ломились в ворота, не обращая на него ни малейшего внимания.

Он выжидал.

Молодой, любознательный негр, неловко повернувшийся, чтобы взглянуть на экран, где появился новый бюллетень, толкнул плечем не менее молодого американца, вынимавшего из перчатки билет. Цилиндр качнулся на голове мистера, а билет упал. Негр растерянно оскалил коровьи зубы. Мистер взорвался. Неизвестный быстро нагнулся, схватил билет и кинулся в ворота, подальше от свалки, где начинался суд Линча.

Бронированные стены цирка еще содрогались

от бешеного топота красных башмаков, стука палок, свистков, апплодисментов и криков. Джазбанд играл негритянский туш. Победитель раскланивался и снимал перчатки. Побежденного растирали мохнатым полотенцем. На арену летели апельсины и сигары. Директор торжествовал.

Вдруг произошло замешательство. Головы двух тысяч американцев и стольких же американок, не считая детей и негров, повернулись. Сверху, почти из под самого купола, по рогланам и джимперс'ам, по цилиндрам и лысинам энергично катился неизвестный, наскоро извиняясь за беспокойство и лихорадочно перелистывая словарь.

Через минуту он уже стоял на арене возле судейского столика. Наступила тишина. Тогда неизвестный иронически улыбнулся, бросил презрительный взгляд на дюжину гологоловых чемпионов высунувшихся из-за портьеры, справился со словарем и, отставив вперед ногу в свиной краге очень старательно сказал:

— Меня зовут Iwan Stepantch и я знаю исключительный прием бокса, который позволит мне победить, по очереди, всех многоуважаемых чемпионов, состязающихся здесь.

Жюри с энтузиазмом удалилось в директорский кабинет. Публика неистовствовала. Джаз-банд играл негритянский туш. Чемпионы были подавлены. Iwan Stepantch загадочно улыбался.

Затем на арену выступил роскошный директор (фрак, цилиндр, сигара).

От лица чемпионата принимаю вызов многоува-

жаемого, но, к сожалению неизвестного борца Iwan Stepantch. Прошу его сообщить свои условия.

Iwan Stepantch перелистал словарь и тщательно сообщил:

Приз в 20.000 долларов, две недели тренировки, один фунт ростбифа и полпинты пива и один завтрак, обед и ужин ежедневно и сигары.

Условия были приняты.

Ставлю один против ста, что этот негодяй раздавит бездельников, как клопов, — воскликнул нитроглицириновый король, потрясая чековой книжкой.

Немедленно четыре гигантские экрана сообщили секторам города о появлении на горизонте таинственного незнакомца Iwan Stepantch обладающего оглушительным секретом бокса и обязавшегося победить всех чемпионов. Вес 3 $1/_2$ пуда, об'ем груди столько-то, бицепсы столько то и т д. и т. д. Первый матч тогда то.

Роскошный кабинет директора цирка, заклеенный мужественной конструкцией афиш. Директор, откинувшись в кресле. Iwan Stepantch отставив ногу в свиной краге. Директор, предвкушая небывалые барыши. Iwan Stepantch добросовестно листая словарь. Остальное пространство завалено грудами репортеров. Чековая книжка директора, как голубь, вылетает из бокового кармана, охотно теряя перья. Вспыхивает магний. Щелкают затворы репортерских кодаков.

Две тысячи американцев и столько же американок, не считая негров и детей, спешно заключали

пари, общая цифра которых доходила до 8.000 на сумму не меньше 16.000.000 долларов.

Iwan Stepantch занял лучший номер в фешенебельном отеле на Гардинг Стрит.

Спортивные журналы подняли тираж втрое... Автомобили с трудом продвигались среди гор летучек и портретов Iwan Stepantch'a тысячами тонн сбрасываемых с аэропланов. На бирже начиналась паника. Iwan Stepantch с аппетитом завтракал.

Двадцать четыре американки, среди которых было пять высококвалифицированных старух, восемь девочек, десять вдов и остальные дочери миллиардеров, ломились в номер Iwan Stepantch'a.

Iwan Stepantch сидел в номере, рассеянно обедая, а в промежутках играл на гитаре.

Между тем подавленные чемпионы, предчувствуя близкое посрамление, не зевали. Они решили во что бы то ни стало узнать секрет Iwan Stspantch'a Двенадцать человек, стол, шесть бутылок коньяку, негодяй — хозяин и недорогой наемный убийца явились великолепным материалом для уголовных построений. На эстраде танцевали фокстрот.

Директор цирка подозревал. . Роняя пепел на лацкан фрака, он схватил трубку настольного телефона.

Вежливый Гарри Пиль, гениальный сыщик Скотланд Ярда, иронически повесил трубку и не торопясь приклеил рыжую бороду.

Iwan Stepantch грустно ужинал. В дверь ломились американки, заключая между собою пари и лихорадочно подкупая хитрых лакеев.

Недорогой наемный убийца решительно надви-

нул кэпи на порочные глаза. Чемпионы потирали руки. Время состязания грозно приближалось.

Ежедневно Iwan Stepantch приезжал на автомобиле в спортинг-палас на тренировку, отбиваясь от двадцати четырех американок, обстреливавших его бананами, туберозами и чековыми книжками.

Дабы ни один нескромный глаз не мог проникнуть в мировую тайну Iwan Stepantch'a ко времени его приезда тренерский зал освобождался от недовольных чемпионов.

Iwan Stepantch вошел в зал и директор, затянувшись гаванной, бдительно развалился в кресле против захлопнувшейся двери.

«А теперь надо действовать, кажется, он уже там», — пробормотал наемный убийца, загримированный водосточной трубой. Он висел вдоль наружной стены тренерского зала на высоте 10 футов от уровня моря. Небольшой карманный лом и цепкие пальцы сделали свое дело. Негодяй осторожно вынул один из кирпичей и заглянул в тренерский зал. Iwan Stepantch стоял перед контрольным мячем и задумчиво перелистывал словарь.

Убийца затаил дыхание. Сейчас он узнает азиатскую тайну Iwan Stepantch'a.

А в это время Гарри Пиль с ловкостью молодой змеи полз по ребру соседнего небоскреба.

Ничего не подозревавший Iwan Stepantch перелистывал словарь, изредка подымая глаза к потолку и старательно выговаривая: «будьте добры, мистер дайте мне один билет на очень скорый поезд в Сан-Франциско».

«Тысяча чертей, хороший прием», — буркнул негодяй с легкой завистью. — «Этот парень мне начинает нра»... Но он не окончил фразы. Тяжелая рука Гарри Пиля легла на его плечи. «Ни с места, негодяй. Именем закона — вы арестованы». Приближались полисмэны.

Не зная того, что он был на волосок от смерти, Iwan Stepantch особенно ласково улыбнулся директору и сел в автомобиль. «Пожалуйста на вокзал» — сказал он шофферу. Мотор помчался. Но следом за ним помчались два других мотора. Один легковой с Гарри Пилем, другой грузовик с двадцатью четырьмя американками.

Они настигли Iwan Stepantch'a у самого вокзала. Гарри Пиль ловко прыгнул из своей машины прямо в машину Iwan Stepantch'a и спешно надел на бледного шоффера наручники, затем, повернув к расстроенному добродушное лицо, гениальный сыщик приподнял котелек.

— Мистер, негодяи хотели вас похитить, как раз накануне состязания. Вас везли на вокзал. Но на счастье я подоспел как раз во время. — Двадцать четыре американки торжествовали. «Да здравствует Iwan Stepantch» — кричала вооруженная толпа.

Iwan Stepantch перелистал словарь и старательно сказал, раскланиваясь: — Напрасно вы беспокоитесь, я не боюсь негодяев.

В день состязания. Директор потирал руки. Iwan Stepantch грустно натягивал на свои тощие, очень волосатые ноги, красивое трико.

Десятки сыщиков во главе с Гарри Пилем шны-

ряло в корридорах цирка, охраняя Iwan Stepantch'a от злостных покушений.

Чемпионы волновались в ожидании страшного жребия.

Спортинг-палас содрогался, как лейденская банка. Джаз-банд играл туш. Двадцать четыре американки рыдали от нетерпения.

Наконец, на арене появился директор. Мистеры, состязания начинаются. Сейчас будет брошен жребий. Двенадцать чемпионов всех цветов интернациональной радуги вступили в зыбкую полосу ослепительных прожекторов.

Вслед за ними вышел тощий Iwan Stepantch. Цирк рухнул громом восторга. Iwan Stepantch слабо раскланивался.

Двенадцать жребиев было брошено в цилиндр директора и двенадцать чемпионов, обливаясь холодным потом, опустили в него двенадцать мускулистых рук.

Жребий достался чемпиону среднего веса, голландцу Ван Гутену. Голландец побледнел, спешно начал писать письмо в Амстердам своей престарелой матушке.

Iwan Stepantch загадочно улыбаясь, положил на ковер словарь.

Ван Гутен передал письмо директору цирка, в последний раз пожал одиннадцать рук товарищей — чемпионов и вышел в круг, надевая перчатки.

Раздался свисток. «Будь что будет» — подумал несчастный голландец, не смея отвести своих честных глаз от ядовитых глаз Iwan Stepantch'a. С отчаянием обреченного он кинулся к неумолимому Iwan Stepantch'y и дал ему в морду.

Кожаная голова мопса закрыла на секунду всю узкую голову Iwan Stepantch'a.

Вентиляторы жужжали в мертвой тишине, как аэропланы, расбрасывая синие электрические искры.

Iwan Stepantch пошатнулся и упал. Судьи схватились за часы, считая секунды.

Голландец вдавил голову в богатырские плечи и зажмурился. Он не сомневался, что ближайшие три секунды принесут ему смерть.

По правилам бокса, боец, пролежавший более десяти секунд, считается побежденным.

Прошло две секунды. Затем три, четыре, пять и шесть.

Вентиляторы жужжали.

Семь секунд, восемь, девять, десять, одиннадцать и двенадцать. Затем прошло еще две минуты, после чего вышло четыре негра во фраках, взяли Iwan Stepantch'a за руки и за ноги и унесли.

Раз'яренная публика ревела. Джаз-банд играл негритянский туш.

«Что это значит?» — закричал директор, подбегая к Iwan Stepantch'y лежащему на диване. Левый глаз Iwan Stepantch'ac трудом расдвинул раздутую щеку и застенчиво улыбнулся. Затем Iwan Stepantch выплюнул четыре передних зуба и потребовал словарь. Он перелистал его и старательно сказал:

Четыре зуба, один глаз и одно общее потрясение — это не особенно дорогая плата за две недели роскошной жизни, господин директор.

Толпа громила Спортинг Палас.

КРАСИВЫЕ ШТАНЫ

Их было двое: прозаик и поэт. Имена — не важны, но они ели.

А в соседнем номере этой громадной, запущенной, похожей на взломанный комод, гостинницы, полной пыли, зноя, кавалерийского звона и пехотного топота, на полосатом тюфяке сидел голый приват-доцент Цирлих и читал Апулея в подлиннике. Он окончил университет по романскому отделению, умел читать, писать и разговаривать на многих языках, служил по дипломатической части, но ему очень хотелось кушать.

Бязевая рубашка с тесемками и мешочные штаны с клеймом автобазы висели на гвоздике. Кроме этих штанов и этой рубахи у филолога Цирлиха ничего не было и он берег их, как барышня бальный туалет.

У соседей ели. Он отлично представлял себе, как они ели и что они ели. Фантазия, обычно не свойственная филологу, на этот раз рисовала незабываемые фламандские натюр'морты. Не менее четырех фунтов отличного черного хлеба и крупная

соль. Очень возможно — самовар. Во всяком случае звук упавшей кружки был непередаваем.

Цирлих взялся обеими руками за кривую, как тыква, голову и прислушался. Они жевали.

Цирлих проглотил слюну. Это было невыносимо. Затем он обшарил пыльными глазами совершенно пустой номер. Безнадежная формальность. Пустота есть пустота. Ничего с'естного не было. Тогда он торопливо облизнулся и на цыпочках подкрался к замочной скважине.

Они сидели за письменным столом и в две ложки ели салат из помидор, огурцов и луку. Миска была очень большая. Рядом с миской лежал мокрый кирпич хлеба. Над самоваром висел пар и комариное пенье. Солнце жарило по полотняной шторе, где выгорала тень оконного переплета.

«Жрут» — горестно подумал приват-доцент.

Минуту он колебался, а затем проворно надел штаны. Он знал, что надо делать. Надо вежливо постучать в дверь и сказать: к вам можно? И затем: вот что, ребятишки, нет ли у вас перышка; у меня сломалось.

Вежливо постучать!

Вчера, позавчера, в прошлую среду, в прошлую пятницу и в субботу он вежливо стучал к соседям. Нет, это недопустимо.

Цирлих горестно снял штаны и повесил их на гвоздик. Голод тоже должен иметь пределы! Но голод пределов не имел. Они ели. Филолог схватился за голову и быстро надел штаны.

Он вежливо постучал.

За дверью началась паника и через две минуты стихла.

— Войдите.

Приват доцент покашлял, устроил светскую улыбку и вошел. Они сидели за письменным столом, но на столе, заваленном громадными листами газет, ничего не было. Не было даже самовара.

«Скотины подумал филолог. — Успели все попрятать. Хоть шаром покати. Неужели самовар поставили в умывальник».

Он пожевал губами, завязал на горле тесемки рубахи красивым бантиком.

— Здравствуйте, друзья.

— Здравствуйте, профессор.

— Вот что, ребятушки. . .

Цирлих раздул щеки и подул на собственный нос.

— Вот что, дорогие мои товарищи... Видите ли, братья писатели, какого рода дело. . . Гм. . .

Он посмотрел еще раз на стол и вдруг заметил край хлеба, вылезшего из загет. И Цирлих уже не мог отвести от него глаз, как птичка не может отвести глаз от изумрудных глаз удава.

— В чем дело, Цирлих?

Угол черной буханки совершенно ясно выделялся на телеграммах Роста.

— Мне очень хочется кушать, — тихо сказал Цирлих.

Он спохватился. Он тряхнул своей кривой головой и весело крикнул:

— Я, знаете ли, очень люблю хлеб и очень люблю помидоры и огурцы. Я хочу чаю.

Прозаик побледнел. Какая неосторожность!

— Вот могу вам предложить кусочек хлеба. . Паек получил. На артиллерийских курсах. А на счет помидор, знате ли. . .

Нет, нет, салата он не мог заметить. Салат был слишком хорошо замаскирован.

Поэт грустно улыбнулся.

— Кушайте, Цирлих, хлеб, а вот помидор, ейбогу нет. Сами сидим ничего не евши третьи сутки, то есть вторые.

Цирлих поспешно отодрал кусок хлеба и плотно забил его в рот.

— Садитесь, Цирлих.

Цирлих сел. Глаза у него были бессмысленны, щеки надуты, а губы жевали.

— Как вы поживаете, Цирлих?

Цирлих трудно глотнул кадыком, покрутил головой и развел руками.

— Плохо?

Цирлих кивнул и подавился.

— Паек на службе дают?

Цирлих вытер рукавом вспотевший нос.

— В чрезвычай-но ог-раниченном коли-честве, — с трудом произнес он, глядя на хлеб. — Да, друзья мои, в очень ограниченном количестве. Я получаю в месяц одну четвертую часть дипломатического пайка, что составляет, гм. . . если не ошибаюсь... Разрешите, я у вас отщипну еще небольшой кусочек хлебца.

— Отщипните, Цирлих, — стиснув зубы, сказал Прозаик, — отщипните, отчего ж. . .

— Спасибо, ребятушки. . .

— Пьесы агитационные надо писать, Цирлих, вот что, — сумрачно сказал поэт, открывая шкап.

В совершенно пустом, гулком, громадном шкапу висели новые, синие, очень красивые штаны.

— Вот, видите?

— Вижу. Брюки.

— То то брюки. Синие. Красивые. Новые. Штаныс-с, можно сказать.

— Приобрели?

— Приобрел. Сегодня. Да-с. Я и говорю: пьесы надо писать, Цирлих.

Цирлих поднял брови.

— Покупают?

— Ого-го, еще как покупают! Только пишите!

Цирлих заволновался.

— А вы знаете, это идея. Агитационные?

— Агитационные.

— Серьезно.

— Чего уж серьезнее. Штаны видели?

— Это идея, ребятушки. Только я, как бы вам сказать, не достаточно опытен в драматической форме. Конечно, можно кое что восстановить в памяти. Я думаю, что мольеровский театр, занявший в истории французской. . .

— Не надо истории, Цирлих. К чорту Мольера!

— Ребятушки, ей-богу, это идея! — воскликнул очень радостно Цирлих. — Только вы, братцы, мне должны помочь немножко.

— Ладно, поможем.

— А о чем же писать?

— О голоде. Только попроще. В два счета.

Цирлих возбужденно доел хлеб, полюбовался красивыми штанами, подул себе в нос и пошел писать пьесу.

Прозаик и поэт всю ночь слышали в соседнем номере шелест бумаги, скрип пера, тяжелое сопенье и шлепанье босых пяток. Цирлих писал. На рассвете он вежливо постучал в дверь. Его впустили. Он возбужденно взмахнул ручкой, с которой слетела клякса на штаны.

— Извините за беспокойство, постановка должна быть несложной?

— Несложной. Как можно проще.

— Хлеба нету, ребятушки?

— Нету.

Цирлих потоптался и ушел. Цирлих писал все утро, весь день и весь вечер. От голода шумело в ушах, а в глазах возились магнитные иголки. Они ели огурцы и круглый лук. Ночью Цирлих громко постучался в дверь.

— Войдите.

Он вошел. У него в руке развевались исписанные листки. Он взволнованно сел на подоконник, взял со стола кусок хлеба сунул в рот и, жуя, сказал:

— Написал я, ребятушки, пьесу. Хочу ее вам прочитать.

— Длинная?

— Короткая. Один акт.

— Читайте, Цирлих.

И Цирлих прочел свою пьесу. Пьеса была такая: голодная степь, вдалеке железнодорожное полотно, посередине степи лежит брошенный младенец пяти месяцев, над младенцем летает ворона, вокруг младенца бегают волк, псица, суслик; кроме того ползает умная змея. Вышеупомянутые животные ведут диалог в духе Метерлинка на тему о голоде, о брошенном младенце и несознательности общества. Волк хочет с'есть младенца. Змея укоряет волка в жестокости. Суслик плачет. Ворона предсказывает близкое избавление. Псица начинает кормить младенца собственной грудью. Тогда приезжает поезд. Паровоз сверкает огненными глазами. Из длинного санитарного состава выходит сестра милосердия. Она не опоздала! Младенец спасен. Волк бежит. Змея торжествует. На санитарном составе написано: «все как один на помощь голодающему населенью Поволжья».

Цирлих прочел пьесу, положил листики на стол и посмотрел воспаленными глазами на слушателей.

— Ну, ребятушки, что вы на это скажете?

Поэт спрятал глаза.

— Как вам сказать, Цирлих? Пьеса, как пьеса, хорошая пьеса; задумана интересно, но...

Цирлих похолодел.

— Да, Цирлих, задумана она интересно, но уж очень постановка сложная.

— Вы думаете? — спросил Цирлих, дуя в нос.

— Да я так думаю. Помилуйте, у вас там фигурирует целый санитарный поезд!

Цирлих умоляюще развязал на горле тесемочки.

— Так ведь он бутафорский. Так сказать, кар-

тонный. Нарисованный, ведь!

— Ну, скажем, поезд еще туда-сюда, но младенец, младенец... Разве можно выводить в пьесе трехмесячного младенца, Цирлих?

Цирлих закинул голову.

— Он пятимесячный и потом он у меня не говорит. Роль, так сказать, без слов. Можно, даже, этакую куклу смастерить бутафорскую.

— Гм. Разве что бутафорскую! Ну, а волка и псицу зачем вы вывели? Кстати почему псица? Что это такое «псица»?

— Псица — это женский род от слова пес. Славянизм.

— Ага. Ну, разве что славянизм. Но кто ж вам согласится играть псицу, вы об этом подумали?

— Подумал. Он загримируется. Станет на четвереньки и будет ходить. Это я как раз обдумал хорошо.

— Ну, ладно, это еще туда-сюда, но ворона, ворона!.. Ворону то как играть? Ведь летает она у вас, Цирлих?

Цирлих долго молчал, а потом глухо сказал:

— А у Ростана, в Шантеклере, как же? Куры участвуют. А у меня ворона. Разница ведь не велика?

— Не велика. Допустим. Это еще туда-сюда. Ну там ворона, суслик, это не важно в конце концов. Но змея! Цирлих, вы вдумайтесь в это: змея! Понимаете на сцене зме-я! Это невозможно! Змея убивает всю вещь. Змею главполитпросвет не купит.

Цирлих покрылся зернистым потом. Он глухо прошептал:

— Да. Змею я не учел.

Наступило тягостное молчанье.

— Что ж делать, ребятушки?

— Выбросьте змею, замените ее кем нибудь другим.

— Нет! Это невозможно. Без змеи пропадает вся композиция. Змея-резопер.

Цирлих уныло поник.

— Может быть, — сказал он, почесывая переносицу и тупо оглядывая пыльными глазами потолок, — может быть... как нибудь... из пожарного шланга сделать змею... И чтоб за нее... говорил суфлер? А, ребятки?

— Нет, Цирлих. Змея не пройдет.

Поэт открыл шкап и полюбовался на штаны.

— Не пойдет? Ну ладно...

Цирлих посмотрел на стол. На столе ничего с'естного не было. Стол был завален газетами.

— Вы бы, Цирлих, другое что нибудь написали?

— Придется написать. Спокойной ночи, ребятки... Пойду попробую.

— Попробуйте, попробуйте. До свиданья.

Цирлих пришел к себе, снял рубаху и штаны, сел на полосатый тюфяк и взялся за голову. Его мутило. Сил не было. Они ели. Цирлих подкрался к замочной скважине. На столе стояла миска с салатом. Был хлеб и круглый лук. Цирлих сел к столу, вдавил карандаш в переносицу так что на переносице осталась лиловая точка и долго сидел. Потом он начал писать новую пьесу. Он писал всю ночь. Зеленые колеса летали перед его глазами. Руки опускались. Есть хотелось до такой, степени,

что тошнило. Со двора пахло жареным. Он писал ночь, утро и полдня. В полдень он лег на полосатый тюфяк и представил себе большой кусок хлеба с маслом, кружку молока и яичницу. Базар был недалеко, на базаре продавали борщ и жареную колбасу. Там были плетеные калачи и молоко. Продать было нечего. Цирлих взялся за голову, вздохнул, и косо отражаясь в зеркале всем своим белым и дряблым телом подобрался к шкапу. Он слышал стук своих ногтей по полу и сердце у него щелкало, как ремингтон.От открыл шкап. Красивые штаны висели среди этого громадного гардероба, как повешенный в очень пустой и большой зале. Цирлих не подумал о том, что красть грех и что он приват-доцент, о том, что он умеет читать, писать и говорить на многих языках! Цирлих только подумал, что за штаны дадут не менее 80 тысяч, о том, что если его поймают, его побьют.

Продавать краденые штаны было очень стыдно, но зато после Цирлих два часа ходил по базару и ел. Он ел хлеб и круглый лук, ел борщ со сметаной и собачью колбасу, пил молоко и курил папиросы.

Наевшись до тяжести, Цирлих осторожно пробрался в свой номер и зашил в полосатый тюфяк три фунта хлеба, сотню папирос, много луку и огурцов. Он снял рубашку с тесемками и штаны с клеймом автобазы и повесил их на гвоздик. Он поджал под себя ноги и принялся за Апулея.

Вечером пришли они и ели. Ели, вероятно, круглый лук и хлеб, но это было не важно. Тогда Цирлих, не торопясь, надел штаны, сделал очень измученное, лицо и постучался.

За дверью поднялась паника и через две минуты его впустили.

На столе не было ничего с'естного и стол был завален газетами.

— Вот что, ребятушки... я очень хочу есть — дайте мне кусочек хлебца.

— Увы, Цирлих, — вздохнул прозаик.

— На нет и суда нет, — грустно подтвердил Цирлих.

— Пьесу надо писать, батенька! Пьесу! — мрачно заметил поэт и подошел к шкапу.

— Вот, не угодно ли взглянуть, брючки. Штаны. Красота!

С этими словами он открыл шкап.

Цирлих печально завязывал на горле тесемочки и смотрел вниз и в сторону.

БАРАБАН

Записки юнкера.

IV — 1917 г.

1

На другой день после производства старших юнкеров в офицеры, когда в оркестре освободилось много мест, я сказал:

— Журавлев, возьмите меня в оркестр.

Юнкер Журавлев, старший в оркестре, здоровый и плотный, но похожий на желторотого птенца, посмотрел на меня с удивлением и спросил:

— На чем Вы играете.

— На большом барабане, — твердо соврал я.

Журавлев знал, что я пишу стихи, и с игрой на барабане это у него не совмещалось. Он недоверчиво прищурился.

— А вы умеете.

— Умею.

Журавлев почесал у себя за ухом, потом пытливо посмотрел на меня. У меня не хватило нахаль-

ства выдержать его честный открытый взгляд и я опустил глаза. Тогда Журавлев сказал:

— Нет, Петров. Вы не умеете играть на барабане.

— Да что ж там уметь. Ну, бить колотушкой по этой самой, как ее... И дело с концом. Тут, понимаете ли, для меня главное дело не в барабане, а лишний час отпуска.

У нас в училище музыканты пользовались лишним часом отпуска. Этот довод кажется подействовал, потому что Журавлев глубоко вздохнул, вытащил из кармана помятую бумажку и записал в нее мою фамилию, а против фамилии написал слово барабан. А когда вечером мы сидели на койках друг против друга и снимали на ночь сапоги, Журавлев вдруг сделал испуганные глаза и сказал:

— Но слушайте, Петров, если Вы только... это вам не стихи.

Вероятно, он не нашел дальше слов и замолчал. Я понял, что дело идет о барабане и сказал:

— Не беспокойтесь.

Через пять минут я высунул голову из под одеяла. Меня тревожил один вопрос.

— Журавлев вы спите.

— Сплю, ответил Журавлев, сердитым и заспанным голосом.

— А скажите, я уже в это воскресенье могу записаться в отпуск на лишний час.

— Можете, буркнул Журавлев из под одеяла и, вероятно, сейчас же заснул.

Я же думал о той, ради которой пустился на такую рискованную эвантюру с барабаном. Рискован-

ную потому, что всю свою жизнь я потрогал всего один раз барабан руками. Это случилось когда то на детском празднике, когда я пробрался к барабану, который всегда пленял меня своей солидностью и блеском, и щелкнул его по туго натянутому полупрозрачному, глупому боку. А солдат с рыжими усами сердито сказал:

— Не трожь.

В тот же день для меня стало ясно, что скромная карьера коночного кондуктора, о которой я страстно мечтал в детстве, и к которой усиленно готовился с трех лет, не выдерживает ни малейшей критики в сравнении с блестящей светской карьерой барабанщика. Я твердо решил, что когда выросту большим, то сделаюсь барабанщиком и, когда маленькие дети станут трогать мой барабан, я буду сердито кричать: «Не трожь».

Казалось, моя детская мечта сбывается. Утром Журавлев опять пытливо посмотрел на меня и сказал:

— Не забывайте, Петров, что барабан ведет за собой весь оркестр.

Это было для меня новостью. Я был готов ко всему, но только не к этому. Дело представлялось мне гораздо проще: оркестр себе играет свое, а барабанщик, между прочим, содействует общему успеху. Так, по вдохновению. Однако я решил итти до конца и сказал Журавлеву:

— Надоели вы мне со своим барабаном. Не беспокойтесь. Я умею.

За завтраком Журавлев опять сказал:

— А может быть, Вы, Петров, не умеете. Скажите лучше прямо.

— Да умею же, господи. Даже в оркестре играл. У нас в этом... в гимназии оркестр был. Так там. Ничего себе знаете. Довольно приличный оркестр.

— А вы не врете.

Положительно Журавлев был фанатиком своего дела. Надо было видеть с каким азартом вербовал он в оркестр корнетистов, басов и баритонов. Но все таки он мне надоел.

Если бы не Зиночка, я сознался бы во всем. Но ради лишнего часа свидания с любимой женщиной, человек способен, на какую угодно глупость. Об этом можно бы написать целое сочинение, но это в мои планы не входит.

2

До этого времени жизнь моя была легка и сравнительно беззаботна. Утром, не лекциях тактики, фортификации и артиллерии, мне снились чудные золотые сны про офицерские «бриджи», погоны с одной звездочкой. После завтрака, на строевых занятиях, я дышал здоровым зимним воздухом, а если рота выходила к морю, и, проходя через город, пела песни, я тоже пел во весь голос. Голос у меня был сильный и похож на вопль умирающего лебедя. Притом ни малейшего намека на слух. Поэтому, когда я особенно увлекался, прохожие останавливались и улыбались а с товарищами от смеха делались истерики и они переставали итти в ногу. Приходили мы в училище уставшие, голодные и прямо к обеду. Потом был вечер и мы готовились

к репетициям, а перед сном перед нами смутно возникал образ офицерских бриджей и золотых погон. И непременно кто нибудь засыпая сообщал приятную новость:

— Господа, а вы знаете, если не считать завтрашнего дня и всех воскресений, то до производства остается пятьдесят дней.

Теперь мое существование было отравлено барабаном. Стоило мне о чем нибудь замечтаться, как сейчас же совесть спрашивала с ехидным шипеньем «А не известно ли вам, юнкер Петров, что барабан ведет за собой весь оркестр». Увы, мне это было известно и я страдал. Но когда оказалось, что в оркестре есть еще капельмейстер, я впал в черную меланхолию и картинно рисовал себе, как меня на первой же сыгровке выгонят из оркестра и оставят на месяц без отпуска.

На следующий день, перед обедом, когда все роты собрались в столовой дежурный взводный об'явил:

— Внимание. Получена телеграмма юнкеру второй роты Крынкину. В чайной комнате найдено двадцать копеек, полевой устав и салфетка. Получите у дежурного взводного. После под'ема певчим собраться на спевку, а музыкантам на сыгровку.—И увидав дежурного офицера заорал: — Батальон, смирно.

И когда хором пели молитву, а потом обедали, у меня бродила мысль о самоубийстве. После обеда Журавлев сказал:

— Не забудьте, Петров, что после обеда сыгровка.

И странно: на душе у меня улеглось и стало спокойно, как перед боем. «Пропадать, так пропадать», подумал я и сам удивился своему хладнокровию.

3

Гвардия умирает, но не сдается. После знаменитого «под'ема», я решительно вбежал на третий этаж, в кладовку, где выдавали инструменты. Возле кладовки уже толпились юнкера-музыканты, и на лестнице гулко носились от стены к стене покрякивания тромбонов и змеиныя трели флейт. Возле моего барабана стоял худой юнкер и в недоумении вертел в руках медные тарелки. Он определенно старался придать своему лицу выражение небрежности, мол, не в первый раз, слава богу, приходится играть на этих самых тарелках. Я подошел к барабану, солидно ткнул его два раза в бок и спросил тощего юнкера:

— Вы не находите, юнкер, что барабан несколько слабо натянут.

Юнкер в свою очередь ткнул в барабан большим пальцем и сказал:

— До известной степени, хотя вообще. . .

Я вздохнул. Он — тоже.

— А вы давно на тарелках играете.

Собственно давно. Я, знаете, в Тифлисе еще, в симфоническом оркестре играл. Там у нас в Тифлисе эти самые тарелки серебрянные были. Это чтобы для звука.

— Ага, а скажите, как нужно на барабане играть, — попробовал я осторожно позондировать почву.

— Собственно, я знаю как, но я хотел знать ваше

мнение. Именно, как у вас в Тифлисе в симфоническом оркестре производили самый звук.

— А колотушкой. Очень просто. Берете колотушку и вот так. . .

Он взял колотушку и несколько раз ударил наискось по коже.

Густой, упругий звук запрыгал по лестнице, как футбольный мяч. Юнкер положил колотушку и спросил:

— А вы разве что, не умеете.

— Умею, но признаться, забыл: давно не играл.

Помолчали.

— А когда нужно бить. По счету какому нибудь или как.

— Да по счету. Когда играют марш, так под левую ногу: раз, два, раз, два. Ну, мы играем только марши, значит под левую ногу, все время. На тарелках, кажется тоже самое.

— А как вы думаете нас на это воскресенье, на лишний час отпустят.

— Я думаю — отпустят.

Я посмотрел на него, он на меня и мы оба засмеялись. Я взял свой барабан с колотушкой, он тарелки и мы сбежали за другими вниз. Надели шинели, фуражки и пошли через двор в манеж, где обыкновенно делают гимнастику и устраиваются сыгровки. В манеже было уже темно и холодно. Зажгли несколько лампочек. Расставили пюпитры вокруг. Я поставил барабан на козлы и по спине у меня пробежала дрожь. Упражнялся косо бить колотушкой по ненавистному барабану, стараясь подражать тощему юнкеру. Журавлев посмотрел на меня вни-

мательно и хотел что-то сказать, но не сказал, а вздохнул. Пришел капельмейстер. Журавлев скомандовал нам «смирно». Капельмейстер был низенький, толстый чех. Переваливался на кривых ножках, гордо носил чиновничьи погоны и фуражку блином. На щеке у него был большой красный нарост, похожий на сливу. Он сказал:

— Здравствуйте. Какой кольед и вьетер. Чистое наказание. Ну не будем время терять и так поздно. Начинаем.

Он обежал всех музыкантов, нажимал клапаны труб, перелистовывал ноты, суетился и говорил:

— Поже мой, поже мой.

Наконец он успокоился и сказал:

Ну, откройте марш номер четырнадцатый.

Зашелестели нотами. Трубы заблестели медью. Мой сосед воинственно помахал тарелками. Капельмейстер зловеще постучал карандашом по пюпитру.

— Фнимание. Три, — четыре — и при чем с таким азартом взмахнул рукой и топнул ногой, что не ударить колотушкой по барабану было невозможно. И я ударил, загремели тарелки, заревели трубы на разные лады, как стадо слонов. Некстати провыла флейта.

— О поже мой, что вы делаете, — завопил капельмейстер, инстиктивно хватаясь за свои музыкальные уши, — Ради пога, перестаньте.

— Отставить... — закричал Журавлев. В эту минуту он был велик.

Замолкли не сразу, а постепенно. Капельмейстер бросился на первого попавшегося ему на глаза. К несчастью это был я.

— Што ви делаете. Разве можно так бить в парапан. Ви когда нибудь раньше играли на парапане.

«Пропал», — подумал я и неуверенно соврал:

— Так точно, г-н капельмейстер, играл.

— Где ж ви играли.

— В этой... в пятой гимназии. Там у нас был свой оркестр.

— Что ви мне рассказываете всякий небилиц, ей погу. Я уже двадцать пять лет в пятой гимназии капельмейстером. Ни разу вас там не видел. — Он оглядел публику большими сердитыми глазами и вдруг засмеялся.

— Хе, хе, хе. Ну, ничего. Научимся. Еще раз. Фнимание. Два, три, четыре.

Все засмеялись. Гроза прошла.

На этот раз вышло лучше. Капельмейстер орал на какого-то баса, но, Боже мой, какое однако сложное искусство играть на барабане. Вокруг ревут трубы, в левое ухо стреляет, как из пушки бас, в правое гремят тарелки тощего юнкера, а тут изволь считай «раз, два, раз, два», и следи за рукой капельмейстера, которая свирепо рубит стонущий воздух. Драма.

4

Одним словом, когда я на следующей сыгровке появился с барабаном, юнкера весело заулыбались и даже кто-то скомандовал «смирно». Я поставил барабан на козлы и сказал:

— Дорогу чистому искусству.

Мы играли марши и я все думал о том, что если на обыкновенном турецком барабане, в туберкулез-

ном юнкерском оркестре, так трудно играть и все время сбиваешься с такта, то какое счастье быть композитором, как например: Скрябин и написать «Прометея», где сложнейшая партитура. И думал я еще об участи всех барабанщиков. И моя душа плакала над их безобразной жизнью. Что может быть глупее игры на барабане. Играют марш — колоти себе по гулкой коже «раз, два, левой,левой». Играют «Боже царя храни», а ты следи за корявой капельмейстерской рукой и старайся не сбиться с такта. Противно.

Мои сердечныя дела шли на повышение. В воскресенье в отпуск я записывался до двенадцати часов ночи и в шесть мчался к ней. Стояла чудная, пушистая зима. Ветер, сыпал снег. В улицах горели лиловые вечерние фонари.

— Звозчик.

Лошадка трусит по улицам, которые в снегу кажутся незнакомыми. Милая, как я ее люблю. Маленькая, черненькая, родимое пятнышко над верхней губой. За что я так страшно счастлив.

Дам извозчику рубль, пусть он тоже будет счастлив. Или лучше не стоит. Нет, лучше дам.

Присутствие женщины вносит в жизнь мужчины гармонию и теплоту. Впрочем, это к делу не относится. Даже не гармонию, а разлад. С одной стороны я получал каждый четверг надушенный сиреневый конверт у дежурного взводного, а с другой стороны семерка по тактике и двое суток «на даче» *) за невнимание в строю. Теперь я играл на барабане

*) Под арестом.

с удовольствием. Мне было все равно, что мы играли. Лично для себя я играл лишний час отпуска.

Зима сдалась сырым туманом. Ветер повернул и из северного стал южным. Откуда-то налетели скворцы, облепили карнизы домов и так галдели, что болела голова. На сыгровку мы уже выходили без шинелей, и когда бежали по лужам через двор, то от ветра было трудно нести барабан. Ветер дул в лицо, продувал насквозь, было холодно и славно. Приближался выпуск и вместе с ним то угарно-пьяное настроение, которое бывает, когда мы кончаем гимназию или корпус — все равно.

5

И вдруг случилось что-то странное, непонятное и неожиданное. Сначала говорили намеками в чайной комнате. Потом громче, за обедом, за завтраком. Сквозь толстые и глухие стены училища, не пропускавшие раньше к нам снаружи ни одного звука, ни одного луча, стали просачиваться обрывки каких то слухов, настроений и новых слов. В стране творилось неизбежное и стихийное. Целый день мы ходили, как потерянные; говорили, говорили и не могли наговориться досыта. Читали газеты, но еще ничего определенного не знали. Потом вечером, на лекции о пулемете, слушая с напряженным вниманием, как говорил штабс-капитан что-то про техническую возвратную пружину и приемник, мы ничего не понимали, потому что думали о другом. Вышел юнкер Дорошевский, взволнованный, даже не спросил разрешения выйти. Он что-то сказал тем, которые сидели на задних скамейках. Шо-

пот передался, как ветер по спелой ниве, и через минуту все знали, что царь отрекся от престола.

Перестали слушать, а только говорили. И казалось, что все здание училища заряжено, как лейденская банка, быстрыми и напряженными мыслями. Жизнь ворвалась к нам снаружи и забросала газетами, телеграммами и слухами. Вечером начальник училища собрал нас в среднем этаже и прочел два манифеста об отречении Николая и Михаила. Мы были так взволнованы, что никто не спал. Офицеры не знали какими им быть. Ночью, откуда-то передавали по телефону, чтобы мы были готовы к выходу с ружьями и боевыми патронами. Утром кто-то из четвертой роты прошел с красным бантом на груди. У нас в классном отделении шепнули. Кто-то говорил вспотевший и взволнованный.

— Товарищи, ну, как это здорово. Кто бы мог подумать, в три дня.

Потом стало известно, что в двенадцать часов будет манифестация войск. Вероятно из нашего начальства никто ничего не знал, потому что нам ничего об этом не говорили.

А мы волновались.

— Товарищи, — кричал князь Гарлапхадзе, честный и глупый грузин.

— Патроны надо взять у каптенармуса. Стрелять может будем.

Но над ним только смеялись и он сердился.

— Бараньи головы, не понимают, стрелять будем. — Было сумбурно весело. Без четверти двенадцать было приказано строиться.

Без десяти двенадцать ко мне подбежал Журавлев с корнетом в руках и задыхаясь сказал:

— Идите наверх. Берите барабан. Будете играть. Будем играть.

— Ну, извините, я не умею.

— Это свинство, в такое время не уметь. Должны уметь.

— Я хочу с ружьем.

— И свинство. Кроме вас никто не умеет. Поймите, что барабан ведет весь оркестр.

В голосе у него звенело отчаяние. «Ага» самодовольно, подумал я.

— Петров, вы будете итти впереди батальона.

— Но как же я буду нести. Что мы будем играть. Я оскандалюсь.

— Слушайте, но ведь это же экспромптом, — сказал я с отчаянием.

— Для вас это не в первый раз.

Я был убит. Надевал на меня барабан весь оркестр. Пригоняли ремень. Поощряли. Просили не унывать. Посмеивались. Я начал входить во вкус. В конце концов барабан ничем на хуже ружья. Даже лучше. С ружьем, правда, вид мужественный и боевой. Но за то барабан ведет за собой весь оркестр, как говорит Журавлев, а оркестр ведет за собой весь батальон. И кроме того, не от оркестра ли зависит, чтобы шли в ногу и вдохновенно. От оркестра.

6

Все училище выстроилось на мостовой перед зданием. Оркестр на правом фланге. И я с бараба-

ном через плечо. Вышел начальник училища. Его шинель была на красной подкладке и распахнута ветром. Он поздоровался с нами так.

— Здравствуйте, товарищи.

«Старая лисица» — подумали мы, но ответили ему все, как один человек. Четко прозвучали слова команды. Звякнули винтовки. И батальон, в строгой колонне, по отделениям вытянулся по мокрой весенней улице. В перспективе солнечных домов пробежала толпа людей с красным флагом. Промчался тяжелый грузовой автомобиль. Сверкнули штыки. Послышалась музыка, крики и стало понятно, что в улицах полно людей.

Было странно и необыкновенно. Прохожие были все серенькие, простые люди. И смотрели на нас с любопытством и удовольствием. А когда мы влились в безконечный поток красных флагов, лиц, автомобилей, солнца, тающего снега, мальчишек Журавлев сделал страшное лицо и сказал:

— Сей-час начинаем. Марш четырнадцатый. Только сразу все вместе господа.

Он подсчитал ногу и мы грянули. Тощий юнкер оказался страшным революционером. Он вдохновенно гремел своими тарелками и все невпопад. Солнце било ослепительными снопами из сияющей меди труб. И в трубах смешно и отчетливо отражалось синее небо, казавшееся в меди зеленым, дома, красные флаги и лица музыкантов. Улицы были запружены взволнованным народом. Войска тянулись беспрерывным потоком и почти на каждом перекрестке приходилось выжидать пока очистится дорога. Было бестолково и славно. Чем ближе мы

подвигались к главным улицам, тем больше опьянял шум и рябило в глазах. Какие-то студенты махали нам шапками и кричали сиплыми, молодыми голосами, стараясь перекричать других:

— Да здравствуют товарищи-юнкера.

Мы проходили по сырым, смрадным улицам, где ютится еврейская беднота и наш оркестр, как мухи кусок сахара, облепляли грязные, нечесанные, каплоухие ребята. Старые, седые евреи с пейсами снимали шапки и беременные еврейки складывали руки на огромных животах, улыбались и по щекам их катились слезы. Впереди меня шел батальоный командир и я все время видел перед собой его вогнутую могучую спину и залитые грязью сапоги. Какая-то молодая еврейка, румяная и полногрудая, подобрав до колен юбку, побежала, расбрызгивая лужи, за нами, догнала батальоного командира, уцепилась за рукав шинели и, завизжав «уй, херувим», попыталась его поцеловать. Батальоный командир не меняя шага, покосился на нее испуганно через пенсне и сделал отстраняющий жест рукой. Юнкера засмеялись, и я видел, как у еврейки блеснули глаза пьяным солнечным восторгом. Мы играли без конца марсельезу и я уже не боялся, что собьюсь и даже изредка говорил музыкантам:

Не спешите. Реже.

Тощий юнкер сверкал своими тарелками и улыбался. Все были как на облаках.

В училище вернулись мы к обеду, уставшие, от солнца, от воздуха и от толпы. После солнца и ярких красок в здании было прохладно, темно, пахло солдатским сукном и щами. Репетиция по админи-

страции была отменена и мы все время до ночи просидели у себя в классе и говорили. Говорили мы о близком выпуске, о свободе, о женщинах, о политике, и даже кто-то рассказывал анекдоты «для некурящих» и все смеялись. Мы были полны радости, и нервы у нас были взвинчены. А когда я ложился спать, Журавлев сказал:

Вот видите, Петров, я же вам говорил, что барабан ведет за собой весь оркестр.

— А вы знаете, господа, что если не считать воскресений и завтрашнего дня, то до выпуска осталось две недели, — сказал кто-то мечтательно.

Прекратите разговоры, — сердито сказал дневальный.

Я укрылся с головой и не мог сомкнуть глаз, до того много мыслей и впечатлений стучалось у меня в голове. Казалось, что голова от них распухла. Я решительно не мог заснуть.

— Журавлев, Вы спите.

— Нет. Не могу.

— Слушайте, Журавлев, правда я был великолепен сегодня с барабаном.

— Великолепны. Если-бы по справедливости, то Вам надо итти в воскресенье на два лишних часа в отпуск.

— Прекратите разговоры, — рявкнул дневальный.

— «На что мне два лишних часа отпуска, — подумал я. — Зиночка?

Но в эту минуту я меньше всего думал о ней.

Ночью мне снилось кекая-то чепуха, похожая на

бред, от которой болела голова. Утром Журавлев, натягивая сапоги и зевая во весь рот сказал:

— Вот видите, Петров, я же вам говорил, что барабан ведет за собой весь оркестр. А вы не верили.

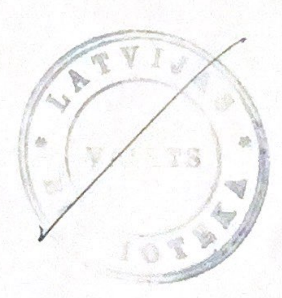
Потом вспомнил и добавил:

— Впрочем, я вам, кажется, это вчера говорил.

— А нам господа до выпуска, если не считать воскресений и завтрашнего дня, — две недели, — сказал кто-то.

— Ну, быстро застилать койки, — закричал дневальный. — А то сегодня дежурный поручик Лавришен. Первое революционное офицерство, до сигнала пять минут.

1917 напеч. „Весь Мир"



ОГЛАВЛЕНИЕ

